Е. ОЛИЦКАЯ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

ТОМ II

Е. Олицкая * Мои воспоминания

II


ПОСЕВ

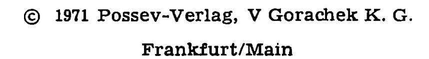
Е. ОЛИЦКАЯ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

II

(Гл. 7 — Гл. 15)

ПОСЕВ


© 1971 Possev-Verlag, V Gorachek K. G.
Frankfurt/Main

7. В ССЫЛКЕ В ЧИМКЕНТЕ

В воскресенье рано утром мы прибыли в Чимкент. Прямо с вокзала мой спутник проводил меня в местное отделение ГПУ и сдал дежурному. Учреждение было еще закрыто. Часа полтора просидела я на скамье в коридоре рядом со столом дежурного. Когда пришел начальник, меня вызвали к нему в кабинет. Он предложил мне расписаться, что я обязуюсь два раза в неделю являться на отметку и не имею права удаляться за черту города на расстояние более 4 клм. На мой вопрос о жилье он сказал, что никаким жильем ссыльных не обеспечивают, что до тех пор, пока я не устроюсь на работу, я буду получать пособие в размере шести рублей в месяц.

— Может быть, вы укажете мне адрес кого-нибудь из ссыльных? — спросила я.

— Вы сегодня всех увидите. Сегодня день отметки. Могу дать и адрес. Все эсеры живут коммуной на Самсоньевской улице, дом № 8.

Мои вещи мне временно разрешили оставить в ГПУ. Я вышла на улицу очень утомленная, но почти счастливая. Я вырвалась из-под стражи. Я была вольная. Я шла к друзьям.

Встреча с друзьями

Дорога моя вела по прелестной улочке. Маленькие одноэтажные беленькие домики, вдоль них — дере-

вянные настилы тротуаров. По обеим сторонам улицы глубокие канавы-арыки с шумно бегущей водой. Неизвестные мне развесистые деревья. Яркое солнце. Синее небо. На горизонте — снеговые вершины. И все это — сразу после тюрьмы.

Чимкент, как я узнала позже, считался одним из чудеснейших уголков Казахстана, кумысным курортом, местом прохлады. Маленький, крошечный городочек. По населению он был скорее узбекским, чем казахским. Жило в нем много украинцев, переселившихся когда-то. Делился он на две части: Старый и Новый город. Старый город состоял из узеньких улиц, обнесенных дувалом, где не разминуться арбе с арбой. Глухие стены дувалов, глухие стены домов. Ни одна дверь, ни одно окно не выходили на улицу. За этими стенами, скрытая от чужого взгляда прохожего, — женщина.

Новый город состоял из семи или восьми улочек и одной площади. Его можно было пройти из конца в конец за десять минут.

Я легко нашла Самсоньевскую улицу — первый же прохожий указал мне ее. Номеров на домах не было. Дома стояли далеко друг от друга, отделенные садами. Наконец, у одного крылечка я увидела женщину. Она стояла спиной ко мне.

— Скажите, пожалуйста...

Она обернулась.

— Катя!

— Клавдия Порфирьевна!!

Мы обнимаемся. Не выпуская моей руки, она ведет меня во двор, в домик.

— Мы вас ждали, Катя. Каждый день Коля Зелигер ходил встречать этап. И сегодня еще не вернулся, а вас прозевал...

— Откуда вы знали, что я еду сюда?

— Нам Шура написал о возможности вашего приезда. Сам он направлен в Семипалатинск. Вообще, ваш Шура не совсем нормальный. Вы можете гордиться. С того самого момента, как мы вышли из тюрьмы, он продолжал жить в ней. Сидит в вагоне и вдруг скажет: «Сейчас обед раздают. Сейчас на прогулку выпускают». А когда получил вашу открытку, мы чуть не силой вывели его на этап. Хотел остаться ждать вас. Катя, мы были уверены, что вы и он будете ставить вопрос о соединении в ссылке. И ошиблись.

— Вам Шура все объяснил? — спросила я.

— Да. Вы молодцы оба.

В столовой самсоньевской коммуны нас встретила Лена Полетико. Я знала ее по рассказам Шуры. Он был очень дружен с ней, очень хвалил ее. Спокойная, ровная, замкнутая, всегда грустная, Лена встретила меня тепло и заботливо.

Самсоньевская коммуна состояла из двух комнат, кухоньки и коридорчика. В большой комнате помещалась столовая. В ней жило четверо мужчин: Володя Мерхалев, Валентин Кочаровский, Яша Рубинштейн и Коля Зелигер.

Мужчин не было дома. Володя работал в статистическом отделе и был на работе; Валентин Кочаровский не был эсером, он был братом Жоржа, убитого 19 декабря. В коммуну он вошел потому, что был репрессирован за брата и сам льнул к друзьям брата. Он тоже был на работе. Яша, которого я прекрасно знала по Савватию, работал по переписи населения.

Не работал Коля. Его я хорошо знала по Соловкам. Совсем молоденький, меньшевик, скромный и робкий, неприспособленный к жизни, единственный

меньшевик в чимкентской ссылке, он был принят в эсеровскую коммуну и, как неработающий, стал ее завхозом и поваром. Он пробыл в коммуне, пока в Чимкенте не появились с.-д.

Из беседы с товарищами я узнала, что в Чимкенте отбывают ссылку Дерковская с сыном Вовой. Их сняли с нашего этапа на Соловках и привезли сюда. Было в Чимкенте несколько человек анархистов, была группочка сионистов. Много было ссыльных из духовенства и верующих. С последними связей никаких не было, только что встречи при регистрации.

Нашу болтовню прервал приход Коли. Тоненький, малорослый, с растрепанными волосами, горящими карими глазами, всегда небрежно одетый, — он был немного не от мира сего.

Вот и сейчас он испытывал угрызения совести, что не встретил меня. До сих пор все шло гладко. Все были здоровы, неприхотливы в еде. Теперь на его шею сваливалась я, беременная женщина. Коля считал, что на него легла страшная ответственность. Как кормить? Как поить? Едва успев поздороваться, он заволновался, захлопотал о моем питании, выворачивая все запасы.

Я пыталась умерить его пыл, но Клавдия Порфирьевна и Лена нарочно раззадоривали его.

— Коля, ты учти, всю беременность Катя выдержала на тюремном пайке. А потом — этап в течение месяца... Вся ответственность на тебе.

Все время, что я прожила на Самсоньевской, Коле не было покоя. Днями думал он, что бы приготовить для меня в виде дополнительного питания, с серьезным видом расспрашивал знакомых, чем надо кормить беременную женщину.

Его очень радовало, что эта беременная женщина, действительно изголодавшаяся, особенно за этап, уплетала за обе щеки все, приготовленное им.

К обеду вернулся Володя. За ним — Валентин, Яша. Пришла Надежда Соломоновна. Все они окружили меня заботой, участием, лаской.

Так началась моя первая ссылка. Так встретил меня Чимкент.

Основателями самсоньевской коммуны были Володя Мерхалев и Валентин Кочаровский. Они не были в тюрьме. Они прибыли в ссылку с воли. Здесь обосновались, устроились на работу.

Радушно встречали они всех, идущих из тюрем, принимали к себе, поили и кормили. Коммуна росла.

«Как же иначе должны жить эсеры в ссылке?» — думали они.

Но приезжать стали товарищи, утомленные тюрьмой: люди, в течение ряда лет ни на минуту не остававшиеся наедине сами с собой; люди, спавшие, читавшие, евшие, гулявшие, даже оправлявшиеся на людях. Они мечтали об уединении, о возможности побыть наедине, когда никто не видит, как ты сидишь, стоишь, ходишь, думаешь. Ни волчка в двери, ни товарищеского взгляда...

Часто на Самсоньевской шли горячие споры о том, правильно ли, что вновь прибывшие не принимают коммуну, правильно ли, что они селятся отдельно.

Володю, Лену, Валентина возмущало не то, что их коммуна превращалась в пересылку, что в нее приезжали товарищи и жили до устройства, до того, как оперятся, если можно так выразиться. Они спорили с каждым, каждого радушно принимали к себе и так же радушно отпускали в самостоятельную жизнь. Народа ехало много. Ссылка росла. Приехал

Соломон Ильич Штер. Приехали Абрам Исаевич Гельтман, Предит, Богатов. Ехали леваки, анархисты, с.-д.

Нас, выделявшихся из коммуны, тревожило то, что прием новых товарищей лежит только на самсоновцах, но ни о какой материальной помощи они слушать не хотели.

Самсоньевская была нашим центром, здесь собирались мы вечерами, здесь все чувствовали себя дома, у себя.

Поиски нового пристанища

Я недолго скиталась по тюрьмам. У меня не было тяги к одиночеству, но я боялась, что ребенок стеснит товарищей, будет беспокоить их криком и режимом. Жизнь убеждала меня в правильности моих соображений. Еще не было дитяти, а товарищи уже заговорили о необходимости подготовиться. Они купили ванночку, намечали переселение. Мне и Лене они решили отвести большую комнату, а сами переселиться в малую.

О том, что я поселюсь одна, даже не говорили со мной. Коротко и ясно заметили они, что отвечают за меня и ребенка перед Шурой, и никуда меня не отпустят.

За меня вступилась Клавдия Порфирьевна. Она заявила, что ребенку в коммуне будет плохо, что она поселится и проживет со мной до приезда ее старушки-матери, которую ждала через месяца два. А там будет видно.

Мы с Клавдией Порфирьевной отправились искать комнату. Городок был маленький. Обойти его было

недолго. Селиться далеко от друзей мы не хотели.

Целый день пробродили мы, и, наконец, наткнулись на чудесную комнату — светлую, большую, изолированную, с деревянным крашенным полом — одним словом, комнату, приведшую нас в восторг. Цена была подходящей. Мы хотели уже дать задаток, но хозяин от задатка отказался, сказав, что у них так не принято, — проживем месяц, тогда будем платить. Он сказал еще, что лучших, чем мы, ему жильцов не надо. Тут же он пригласил нас к себе.

С любопытством зашли мы к нему. Комната была еще больше той, что предлагалась нам, просторнее казалась она и потому, что в ней не было никакой мебели. Пол был устлан кошмами. Вдоль стен на полу — стеганые одеяла и подушки в пестрых наволочках. Посреди комнаты стоял низенький, не выше четверти от пола, столик. Вокруг него на кошмах сидела вся семья. На столике дымилось огромное блюдо с пловом. И женщины, и дети погружали руки в миску и старательно набивали рты; аппетитно облизывали они пальцы и снова запускали их в общее блюдо.

Все гостеприимно потеснились, освобождая нам места. Хозяин не хотел отпускать нас, пока мы не разделим с ним трапезу. Мы с Клавдией Порфирьевной решительно отказались. Мы говорили, что сыты, что спешим домой. На самом деле мы не решались присоединиться к такому столу.

Сегодня еще нас предупреждали: в общежитии с узбеками будьте осторожны — они повально болеют сифилисом и трахомой.

Хозяин явно обиделся. Он не вышел проводить нас, а наутро, когда мы пришли со своими чемоданами и барахлом, через запертую дверь объявил,

что никакой комнаты здесь не сдают и сдавать не будут. Объяснений не требовалось — мы нарушили закон гостеприимства.

В тот же день нам удалось найти другую квартиру. Она сдавалась всего на три летних месяца. Но зато это был совсем отдельный домик. Кухонька и комната. Домик был чудесный, дворик вокруг него еще лучше. Все блистало чистотой под хозяйским глазом. Хозяева домика — старик и старушка — переселились на лето в сарайчик, а дом отдавали в наем.

С наслаждением завладели мы этим «особняком».

После тюремных камер, после тюремной жизни мы оказались среди незнакомой нам экзотики юга. Южный базар, чайханы, где при нас на металлических палочках жарили и подавали шашлыки. Скрестив ноги, сидели торговцы в своих длинных синих халатах и ярких тюбетейках. Тут же, на кошмах, посетители из пиал пили зеленый чай. По улицам проходили караваны верблюдов. Больше всего меня поразили погонщики-казахи, они ехали на маленьких осликах, ноги их почти волочились по земле. Вокруг городка были раскиданы юрты; всюду были мужчины, мужчины, мужчины... Мы хотели видеть и женщин.

Когда я раньше читала о женщинах в парандже, в воображении моем рисовалось воздушное поэтическое видение под легким покрывалом... Бесформенные фигуры двигались нам навстречу. Серый, груботканный покров свисал с голов, закрывая фигуры до самых пят. В балахоне на уровне глаз были прорезаны небольшие отверстия, затянутые грубой волосяной сеткой. Иногда женщина отводила ее ру-

кой. Тогда мелькали прекрасные миндалевидные черные глаза.

Казашки не закрываются. Они работали наряду с мужчинами. В городе они не жили. Они приходили с гор, с пастбищ вместе с караваном. Те, которых я видела, не были красивы. Широкие, скуластые, обожженные солнцем лица. Тем красивей казались узбечки. И они это знали. Легким красивым движением отстраняли они паранджу на мгновение, достаточное, чтобы разглядеть их овальные лица с огромными черными глазами под узкой полоской бровей. Они любили украшать себя. Нас поразили их брови: длинной зеленой чертой они подводили их.

Узбеки городка жили торговлей. Жены их сидели дома, вели хозяйство, растили детей. Все дома были окружены садами. В садах — уйма фруктов.

Рождение нашей дочери

Недолго побродила я по Чимкенту. Как-то вечером я почувствовала себя плохо. И я, и Клавдия Порфирьевна были неопытны, и мы сразу собрались в больницу.

Больница, коридоры, палаты, дежурные сестры в белых халатах. Как будто все это не походило на тюрьму, — но я почувствовала ее воздух. Опять режим, казенный уклад жизни. Ощущение тюрьмы настроило меня на протестующий лад.

А больница была ужасная. Грязь в коридорах, несвежее белье на койках. Меня даже не свели в ванную мне только предложили сменить застиранное мое белье на казенное. Не так представляла я себе родильное отделение больницы.

Меня возмутила уборная без стульчаков, кишевшая отвратительными белыми толстыми червями. Со скандалом добилась я себе чистого белья на койку.

Рожали тут же на койках в общей палате. Акушерка металась между роженицами.

Сейчас же после родов мне предложили встать, взять ребенка и перейти в соседнюю палату. Мне почему-то казалось, что роженица не должна вставать, ходить, и я заявила, что вставать не буду, пусть меня несут. Повернулась на бок и заснула. Сестры и санитары возмущались, но в конце концов появились носилки, и меня отнесли в другую палату.

Отдельных детских постелек в больнице не было. Дети лежали в кроватях матерей. Температуру у рожениц не измеряли. При родах у меня и у моей соседки прозевали разрывы. Через сутки их случайно обнаружила женщина-врач, которую товарищи просили обратить на меня особое внимание. На пятый день мне стало худо. Со скандалом добилась я старшего врача, а через него — измерения температуры. Термометр показал 40°, тогда забегали вокруг меня и санитарки, и сестры, и врачи.

Единственной отрадой в моей больничной жизни было окно. К нему приходили мои друзья. Я одна в чужом далеком городе в ссылке, но ни к кому не приходило столько посетителей, как ко мне, никто не получал столько передач, столько знаков внимания и заботы. Тумбочка у моей койки была заставлена цветами, фруктами и конфетами.

Как-то в окно палаты товарищи сообщили мне о смерти Дзержинского. Как и чем выразила я свое несочувственное отношение к этой смерти, не помню. Но соседка по постели спросила меня:

— Почему смерть Дзержинского вас радует?

Поняв, что веду себя глупо, все же буркнула:

— Одним негодяем меньше живет на земле, — и уткнулась в подушку.

Екатерина Павловна Пешкова, которую я очень уважала, говорила, как мне передавали, что Дзержинский исключительной души человек, что еще до революции, в ссылках, его называли «ходячей совестью», что именно поэтому его выдвинули на такой высокий пост.

Дзержинского я не знала. Но мне было совершенно достаточно того, что я знала о «19 декабря», о застенках ЧК, возглавляемой им, чтоб положительные отзывы о нем не нашли дороги ни к моему сердцу, ни к моему разуму.

Я рвалась из больницы домой, но у меня не снижалась температура, и врачи меня не выписывали.

Товарищи, узнав об условиях в больнице, о моем нервном состоянии, уговорили одного из врачей выписать меня с тем, чтобы продолжать лечение на дому.

На извозчике приехала за мной Клавдия Порфирьевна. Товарищи установили круглосуточное дежурство. Одни закупали продукты, другие готовили, третьи дежурили. Все это было вовсе не так нужно. Дома температура быстро упала. Теперь я кляла себя, зачем я рвалась из больницы. Чтобы стать обузой для товарищей? Но мне было так хорошо, так тепло от их забот!

И дочка была здоровенькой. Я назвала ее Марией в честь матери мужа, как это было между нами условлено.

Вскоре стали поступать письма от Шуры. В Семипалатинске, как и в Чимкенте, он встретился с

группой товарищей. Ясно написать Шура не мог, но я поняла, что наши планы не встретили одобрения, больше того, из-за круговой поруки в ссылках, на них было наложено вето.

«При создавшемся положении ничем не оправдана наша раздельная жизнь», — писал Шура.

Он послал письмо Пешковой с просьбой ходатайствовать о нашем соединении. Заявление о соединении нас в одной ссылке следовало подать и мне. Шура писал, что уже устроился на работу, и прислал мне денег. Вскоре я получила сообщение от Пешковой, что мне разрешен переезд в Семипалатинск, а через несколько дней меня вызвали в ГПУ.

Там мне сообщили, что я могу ехать общим этапом к мужу в Каркаралинск, куда его перевели из Семипалатинска. Но, так как везти меня общим этапом с грудным ребенком сложно, мне предоставлено право ехать спецэтапом за свой счет, то есть везти за свой счет и двух конвоиров.

Это было явное издевательство. Где я могла взять средства на оплату и содержание двух конвоиров?

Я получила письмо от Шуры, в котором подтверждался перевод его в маленький поселочек недалеко от Семипалатинска.

В ответ на разрешение мне ехать к нему общим этапом он поставил вопрос о разрешении ему ехать ко мне в Чимкент, так как на спецконвой у нас денег, конечно, не было.

Лето прошло. Наступили холода. К Клавдии Порфирьевне приехала мать, и она поселилась отдельно. Хозяевам нужна была квартира. Оставить меня жить одну с ребенком товарищи не хотели. Звал меня к себе Богатов, звал Предит. Я не шла. Я не хотела стеснять товарищей. Тогда они пришли сами.

Евграф взял на руки девочку, остальные — вещи, и пошли.

В ожидании приезда жены Евграф снял домик. Состоял он из большой комнаты с деревянным полом и кухонькой, тоже не маленькой, но с земляным полом. В комнате стояла широкая мягкая кровать, стол, шкаф, стулья. В кухне не было ничего, кроме плиты и двух скамей.

До приезда жены Евграфа комната была отдана Мусе. Так сказал он. Я была лишена права голоса. Он был хозяином дома. Для себя он сдвинул в кухне скамьи и постелил постель. Примус мой поставили в кухне на подоконнике.

— Ваше дело — дочку растить, мое — все остальное.

Так мы и зажили. Евграф приносил воду из колодца, готовил завтрак и уходил на работу. По дороге он покупал продукты на базаре и в магазине и, вернувшись с работы, готовил обед. Единственное, что мне разрешалось, это залатать, починить что-либо из его одежды. После тюрьмы мы все были достаточно обшарпаны, обтрепаны. На наше счастье, погода была теплая, а остальное нас мало смущало.

С работой в Чимкенте было неплохо. Работали почти все. Ссыльных на работу брали очень охотно. Местных культурных сил не хватало, ссыльные считались добросовестными работниками.

В основном ссыльные работали в бухгалтерии, статистиками, плановиками, экономистами и зарабатывали до 100 рублей в месяц. Этого на жизнь хватало. Не так было в северных ссылках. Там жизнь была очень дешевой. Гораздо дешевле нашей, но найти работу не было никакой возможности. Нам

приходилось поддерживать товарищей северных ссылок. Для этого мы организовали кассу взаимопомощи. Касса оказывала помощь и местным товарищам временно, до поступления на работу. Помощь товарищам других ссылок была безвозвратной. Кроме нашей эсеровской кассы взаимопомощи, была в Чимкенте и общая касса взаимопомощи — эсеров, анархистов, сионистов. Туда шли особые отчисления. Конечно, обе кассы были нелегальными.

Время шло. Мусе исполнилось уже три месяца, когда Шуре пришло долгожданное разрешение ехать в Чимкент. В этапе он должен был пробыть месяц. За этот месяц я подыскала квартиру. Квартира была плохая. Я сознавала это, но другая не находилась. Товарищи протестовали, я их не слушала. Мне хотелось встретить Шуру в своем доме.

Крохотная кухня была аркой отделена от комнаты-клетушки, низенькой, глинобитной, с земляным полом. Я не работала нигде, но через Володю доставала карточки крестьянских бюджетов для обработки. У меня было несколько учеников, — я репетировала школьников. Помогала мне соседская девочка лет тринадцати. Пока я давала урок, она возилась с дочкой. Потом я помогала ей в учебе.

Шура добился перевода

Почти четыре месяца было Мусе, когда приехал Шура. Она уже садилась в своей кроватке. Усталый, худой и длинный, склонился он над ней.

— Самое дурацкое состояние: идти самому под конвой, на этап, и все из-за такого маленького существа.

После тюрьмы и этапов впервые виделись мы с глазу на глаз, без надзора и волчка в двери, один на один.

Я не ошиблась. Я правильно поняла все Шурины письма. Прибыв в ссылку, он сразу поставил перед товарищами вопрос о переходе на нелегальное положение, о возвращении к партийной работе по собиранию, прежде всего, партийных кадров.

Никто из товарищей не поддержал его. Все находили, что сейчас не время, что нужно ждать.

Сложность исторической ситуации, сложность своего положения мы понимали. Старая партийная программа не соответствовала настоящим условиям. Съезд партии не созывался долгие годы. Многие положения должны быть пересмотрены и изменены. Выступать от имени партии было невозможно.

Но именно этого требовала работа на воле. Разве не знала история революционного движения тяжелых периодов? Но люди не складывали рук, не гнушались мелкой кропотливой работой.

— Что ж, нельзя, так нельзя. Поживем три годика в ссылке, а там такой минус выберем, где не будет товарищей, которых нельзя подводить.

Товарищи по чимкентской ссылке стали на точку зрения семипалатинцев. Чувствовалось, что люди устали от тюрем. Им надо отдохнуть и физически, и душевно. Если говорить о старых эсерах, освобожденных в 1917 году из ссылок, из тюрем, и после двух лет кипучей жизни попавших снова в застенки, это было более, чем понятно, — а таких было большинство. Молодые товарищи прислушивались к «старикам» и не решались выступить на борьбу под новыми лозунгами борьбы внутри рабочего класса.

Да и вера, что большевики сами дискредитируют себя, была велика.



Верят ли крестьяне и рабочие в партию большевиков? Сколь велика прослойка верящих? Почему молчит народ, и долго ли он будет молчать?

Велика была вера всех социалистов в демократию, и никто из них не верил в возможность построения социализма иным путем, путем диктатуры.

Все самые дорогие для нас лозунги глядели на нас с плакатов, со столбцов газет, звучали на собраниях и митингах. Наши лозунги. А видели мы насилие, обман, жестокий произвол. Тирания называлась свободой. Насилие прикрывалось светлыми, дорогими нам словами. И тошно было от фальши, лжи; жутко от наглости, все допускающей и оправдывающей; мучительно от бездействия, от нашей судьбы бесправных, в стороне стоящих зрителей.

В эти годы был брошен новый лозунг — «коллективизация сельского хозяйства». Большевики не сумели овладеть деревней, а стране для восстановления ее разрушенного хозяйства нужны были средства. Кто мог дать их, кроме русской деревни, кроме русского мужика? Как выкачать средства из индивидуального мелкого крестьянского хозяйства, не дав ему ничего взамен? Жизнь требовала реформ.

Коллективизация сельского хозяйства — наш лозунг, наше решение крестьянского вопроса: через производственную кооперацию крестьянских хозяйств — вперед к социализму.

Против производственной кооперации всегда выступали все социал-демократы всех толков. Теперь они провозглашали лозунг «коллективизация».

Коллективизация 1927-1929 годов не воплощалась еще во всей своей красе в жизнь, о ней писали еще только прекрасные статьи. Мы им не верили. В наших кругах горячо обсуждался вопрос, во что выльется коллективизация крестьянского хозяйства в условиях большевизма. Мы были полны скепсиса, а Володя Радин поверил: молодой парень, 21 года, сын старого большевика, он пошел дорогой отца.

Он был эсером. Жизнь привела его в тюрьму. На Соловках он много и упорно занимался, был горячим сторонником подлинной демократии. Как всех эсеров, больше всего его интересовал вопрос аграрный.

В Савватии Володя дружил с Шурой, хотя настроен он был значительно правее. Володя освободился из Верхне-Уральска после нас. Мы часто о нем вспоминали, надеялись, что судьба забросит его в наши края. Хотелось встречи, бесед, обмена мнениями. Был Володя удивительно славный, как внешне, так и внутренне. Очень тонкий, худой, с русыми волосами, ясными голубыми глазами, чуть вздернутым носом, покрытым веснушками. Легкая, мягкая, как бы застенчивая улыбка обычно озаряла его лицо. Был он мечтателем. Веры в жизнь, надежды на жизнь было у него — край непочатый.

С Шурой вместе мечтали они об уходе из ссылки. Теперь мы ждали вестей от Володи после освобождения его из тюрьмы. И письмо пришло. Оно было триумфальной песней во славу коллективизации сельского хозяйства. Володя писал, что большевики — честный, идейный народ, что они только сбились с пути. В стране нашей будет осуществляться величайший в мире переворот, кооперированное крестьянство станет хозяином земли, страны, жизни... Он,

Володя, хочет отдать все силы на дело претворения в жизнь своих идеалов; он полагает, что все мы обязаны придти на помощь большевикам.

Мы не возмущались настроением Володи, нам было его бесконечно жаль. Жаль за то, что пришлось ему пережить. Жаль за то, что ему предстоит пережить. Жаль, что мы теряем такого товарища.

Шура твердил:

— И будут уходить, гибнуть все такие Володи, потому что человек задыхается в бездействии, потому что нельзя сидеть у моря и ждать погоды. Потеря партией таких людей, как Володя, вопрос, над которым партия должна задуматься.

Приезд Шуриной матери

Путь к нам был долог. Дорога стоила дорого. Но желание встречи превозмогало все. Мы ждали гостей. К Шуре должна была приехать мать, ко мне — сестра. Первой приехала Шурина мама. Я не была с ней знакома и боялась встречи. Из рассказов Шуры я знала, что мать его вышла из семьи потомственных железнодорожников, была хорошей домохозяйкой, и считала, что удел женщины — семья. Я в домашнем хозяйстве ничего не смыслила. Буржуазную семью со всем, к ней причитающимся, ненавидела. В чимкентской ссылке наш дом был единственным семейным домом, куда тянуло одиноких товарищей — холостяков. Мне, волей-неволей, приходилось вести хозяйство. Но вела я его — спустя рукава.

К приезду Шуриной мамы нам удалось сменить квартиру. Мы радовались. Хоть землянка наша не

испугает ее. Шура поехал на вокзал встречать мать, а я прилагала все старания, чтобы встретить ее получше. Я вымыла пол, убрала квартиру, перечистила всю посуду. Нарядилась получше сама и нарядила Мусеньку. Как назло, именно сегодня у меня заболел зуб. Он не болел с самого соловецкого этапа. Боль портила настроение. Я нетерпеливо ждала. Наконец, я услышала шум колес. С Мусенькой на руках я выбежала. Шура помогал матери выбраться из пролетки. Я не знала, как держать себя с Шуриной мамой. Я знала, что она очень хорошо относилась к первой жене, которая, выйдя вторично замуж, постояннно бывала с сынишкой у бабушки.

— Знакомься, Катя, это моя мама.

Шура стоял рядом с матерью такой сияющий! Возле него высокая, худенькая серьезная, спокойная женщина. Белое маркизетовое платье оттеняло темный цвет лица. Карие глаза, как у Шуры, окаймленные темными кругами, пристально рассматривали меня.

Не очень тепло, не очень приветливо, но первая встреча как-то обошлась. Гостью нашу мы провели в комнату. Она внимательно осмотрелась кругом. Мне показалось, что даже с Мусей она обошлась холодно. Я старалась угостить, накормить Марию Михайловну, но она выпила только чаю с вареньем, отклонив все мои угощения. Не сводя глаз друг с друга, сидели Шура и мать. Шура гладил ее руку и подносил к губам. Изредка спрашивал, изредка говорила она об их московской родне. О Циле, о Шурином сынишке... Мария Михайловна восторгалась мальчиком.

Мне казалось, что мы с Мусей лишние при этой встрече, и я ушла с дочуркой гулять во двор. Но я

не находила себе места. Зубная боль мучила, и я решила пойти к зубному врачу. Я вызвала Шуру, сказала ему о своем намерении и ушла.

Вернувшись от врача, я чувствовала себя прекрасно. Я застала Шуру и Марию Михайловну за беседой. Шура взволнованно ходил по комнате. При моем появлении они замолчали. Муси с ними не было. На мой вопрос, где девочка? Шура спохватился. Увлекшись разговором с матерью, он совершенно забыл о ней.

Я вышла поискать Мусю. Я думала, что она у квартирной хозяйки. Ей был уже годик, и она часто бродила с хозяйскими девочками. Но ни Муси, ни хозяйской девочки нигде не было. Я обегала наш дворик, наш садик, вышла на улицу. Чем дольше я искала, тем больше росло беспокойство, поднималось возмущение против Шуры и его матери — забыть о ребенке!

Детей не было нигде, и никто их не видел. Я забежала к ближайшим нашим товарищам, соседям. То была семья с.-д. Малкина. К Малкину в ссылку приехала жена с сыном. Мальчику было около пяти лет, и он часто играл с Мусей. Малкин сидел в саду с одним из своих учеников и вел урок. Он сказал мне, что дома никого нет, что жена ушла на базар. Не зная, куда кинуться, я взволнованная побежала домой, чтобы привлечь к поискам Шуру. На углу я встретилась с женой Малкина. Милая, приветливая женщина, чтобы успокоить меня, обещала помочь мне в поисках, звала к себе, чтобы она могла положить покупки. Отворив двери своего дома, она крикнула:

— Катя! Да вот они!

На полу посреди комнаты лежала моя Муся, а

мальчик Малкина и дочка хозяйки укрывали ее одеялом и уговаривали спать.

Муся была найдена, и я забыла о своих тревогах, подхватила ее на руки и убежала домой.

Со смехом я рассказывала Шуре и Марье Михайловне о ее похождениях. А Шуру мучали поздние угрызения совести. Он взял девочку к себе на колени. Марья Михайловна сокрушенно покачивала головой.

Не знаю, почему сложилось у меня впечатление, что между Шурой и его матерью произошли какие-то трения, что они чем-то недовольны, расстроены.

Я из кожи вон лезла, чтобы сгладить все и сделать, как можно лучше, но жизнь не клеилась. Марье Михайловне не нравилось у нас все. Ее обидело, что Шурин топчан мы вынесли в коридорчик, и он уходил спать туда. Не нравилось, что Шура сам стелит свою постель, что он носит воду и иногда моет пол, что помогает мне выжимать белье, когда я стираю, что он несет ребенка, когда мы идем в гости. Не нравилось, что Муся — некрещеная. Всё не нравилось.

Узнала я об этом через две недели после ее приезда. Случилось это в день Мусиного рождения. Поздравить Мусеньку и нас собралась вся ссылка. Не говоря о наших завсегдатаях-эсерах, пришли с.-д., пришли анархисты, сионисты. В общем, — человек сорок. В саду перед домиком на каких-то скатертях разложили мы угощение. Поставили на скамеечке самовар, взятый у хозяйки, — чашки, стаканы, блюдца принесли с собой гости. Мы расселись и разлеглись на земле, кто как и где мог. Сама именинница спала.

Первые стаканы чаю были налиты мною. Потом

гости, допив чай, наливали себе сами, и ели кто что хотел. Марья Михайловна пыталась подменить негостеприимную хозяйку, но ее со смехом и шутками отстранили от самовара. Марье Михайловне это не понравилось. Она ушла в дом. Когда гости разошлись, недовольство, накопившееся за две недели, прорвалось наружу.

Завтра же она уезжает, заявила Марья Михайловна. Дня она не проживет в доме со мной. Сперва я ничего не могла понять из упреков, сыпавшихся на меня. Мы оба с Шурой, опешив, молчали. Но когда Марья Михайловна сказала, что не хочет жить под одной крышей с некрещеным ребенком, которого не признает за внука, Шура сказал:

— Что ж, мама, тогда уезжайте, — и вышел из комнаты.

Марья Михайловна повернулась ко мне спиной и заплакала. Я сидела у Мусиной кроватки. Мы не обменялись больше ни словом. Потом я вышла к Шуре. Он лежал, уткнувшись головой в подушку.

— Шура, я не понимаю ничего. Почему ты ничего не сказал мне раньше, не предупредил? Ведь можно было...

— Оставь, — перебил меня Шура, — не в этом дело.

Он обнял меня за плечи, и так, обнявшись, мы вышли из дома за город, в степь.

— В первый же день, — стал рассказывать мне Шура, в первые же часы встречи, когда я спросил у мамы, сколько она может прогостить у нас, она ответила, что может и насовсем остаться. Я-то ведь у нее один. Не век же ей жить у своего брата. Дело в том, Катя, что мама не хочет жить моей жизнью. Она видела, что Циля и сын не удержали меня. По-

том она решила, что второй брак, вторая семья, второй ребенок... В общем, она надеялась, что ты будешь ее сообщницей, что обе вы удержите меня от пагубной жизни. Когда она приехала и почувствовала, что ошиблась, все и пошло. Я ей в первый же день сказал, что жизнь наша шаткая, но что от этой жизни мы не уйдем — ни ты, ни я. «Что ж, ты и вторую с ребенком бросишь?» — спросила она меня. Я ей ответил, если я ее для революции не брошу, то она бросит меня. Сказал и спохватился. Так я не должен был говорить. Я думал... я надеялся... она поймет, примирится. Я все равно верю, что в конце концов она поймет.

Когда мы вернулись, Марья Михайловна уже легла в постель.

На следующее утро мы встали так, как будто ничего не случилось. Ни мы, ни Марья Михайловна не возвращались к прежнему разговору. Жизнь пошла по-старому, даже ровней и глаже, чем раньше.

Недели через две Марья Михайловна начала готовиться к отъезду. Она стала говорить, что соскучилась по Москве, родным. Беспрерывно рассказывала она о том, как хорошо живут в Москве, как легко там все купить, все достать, как хорошо люди стали одеваться, какие успехи по службе, какие материальные достижения у Шуриных сверстников.



Вскоре после отъезда Марьи Михайловны приехала моя сестра Аня. Конечно, приезд сестры носил совсем другой характер. Ни о каких дальнейших планах жизни мы с Аней не говорили. Кое-что она, конечно, угадывала сама. Она пыталась несколько раз спорить с нами, описывать всякие достижения

советской власти. Не отрицая наличия деспотии, она уверяла, что, если бы мы оказались у власти, то действовали точно так же. Но политических разговоров мы вообще избегали. Они, собственно, ее и не интересовали. Ее просто огорчало, что мы строим так свою жизнь, что не можем жить, как другие люди.

Сестра восторгалась экзотикой, караванами, юртами, узбекской утварью, обычаями. Она уверяла даже, что из окна нашей комнаты, выходившей на голую выжженную степь, видела мираж. Сестра очень подружилась с Валентином Кочаровским. Вместе гуляли они вечерами, мне же было трудно выбраться от маленькой Муси. Но и меня они вытащили в Старый город, в Священную рощу с неприкосновенными священными птицами и другой экзотикой.

Ее присутствие было нам приятно, но ее отъезд не создал пустоты. Нам так хорошо было вдвоем. Муся еще в счет не шла. Она брала много сил, осложняла, но и украшала нашу жизнь.

Жизнь и судьбы ссыльных

В Чимкенте, как я писала, с работой для ссыльных было не трудно. Все, кто хотел, — работали, и заработка на скромную жизнь хватало. Шура работал бухгалтером-контролером и зарабатывал в месяц около 80 рублей. Я немного подрабатывала уроками. Мы питались неплохо, немного приоделись.

Конечно, шестирублевое месячное пособие, выдаваемое неработавшим, было скорее издевкой. Не работали же в нашей ссылке сионисты. Их было

человек десять-пятнадцать. Все это были совсем зеленые юноши и девушки. Вырванные из привычной для них жизни маленьких ремесленных местечек, они не умели приспособиться к новой обстановке. Жили они вместе, все вместе мечтали о выезде в Палестину. Бесчисленное количество раз устраивал В. Мерхалев кого-нибудь из них на работу... Больше двух недель они на работе не удерживались. Их поддерживала наша касса взаимопомощи. Но стоило какой-нибудь копейке попасть в их кассу, как она моментально растрачивалась на кино, на конфеты, на чепуху, и они снова сидели голодные. Пьянства тогда среди ссыльных не было. Конечно, ссыльные не были аскетами. Пили вино во время вечеринок, отмечали Новый год, майские праздники. Но я не помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь из товарищей был пьян.

Порой сионистская молодежь забегала к нам. Изредка кто-либо из нас заходил к ним. Близких отношений у нас с ними не было. Больше других дружил с ними Яша.

В 6 часов утра, когда мы еще только вставали, в комнату нашу ворвался бледный дрожащий Ваня..

— Шура, скорей идите к нам! Сема повесился! — с трудом произнес он, расплакался и выбежал.

Наспех натягивая тужурку, Шура выбежал за ним. Одна, с Мусей на руках, я не находила себе места. Вернулся Шура только вечером. Надо было вызвать врача для констатации смерти. Надо было уведомить ГПУ, сговориться о похоронах, заказать гроб. Надо было успокаивать молодежь, пораженную горем и страхом. Покойник оставил записку. Содержание ее не должно было стать известным никому, кроме тесного круга товарищей.

В сионистской коммуне товарищи установили дежурство. Молодежь ни на минуту нельзя было оставлять одну.

Я не спрашивала, чем было вызвано самоубийство, но я знаю, не попади этот 18-летний юноша в ссылку, он мог бы жить.

Из нас тяжелее всех переживал эту смерть Яша. Сам еврей, он ближе других был связан с сионистами, и не мог себе простить, что не вошел в жизнь молодежи, не сумел уловить нездоровые настроения, приведшие к трагической развязке. Сам он жил в ссылке очень нервно и очень тяжело.

Что привело Яшу в партию, к революционной борьбе, — я не знаю. Арестован он был на Дальнем Востоке, когда партия существовала там совершенно легально. По типу своему он ничем не напоминал политического деятеля. Больше всего в жизни Яша любил искусство, особенно музыку. Красивый, всегда аккуратно одетый, подтянутый, Яша никого не впускал в свой внутренний мир. Внезапный арест вырвал его из легальной жизни и привел на Соловки. На воле у него осталась жена с грудным ребенком на руках. Материально она не была устроена и с трудом перебивалась. Шила на заказ, билась, как рыба об лед. Обладая прирожденным изяществом и тонким вкусом, Фаня приобрела круг заказчиков. Со временем ей удалось перебраться к родным в Ленинград. Родные ее были люди обеспеченные, жить стало легче, Фаня поступила на курсы кинематографии. Красивую и способную ее ждал успех. Она увлекалась учебой, сценой. И очень любила Яшу.

Яша был скрытным, но все мы чувствовали, что его тревожило окружение Фани. Он предчувство-

вал, что жизнь разведет их. Он очень любил Фаню, он вообще любил женщин и утверждал, что женщины тоньше, глубже, душевнее мужчин. Женщины отвечали на его отношение сторицей. И молодые, и пожилые, и старые всегда баловали Яшу, чем могли. Окруженный друзьями и женщинами, Яша всегда оставался верен Фане.

В Чимкенте Яша очень подружился с сионистской-социалисткой Мирой, прелестной 20-летней девушкой. Вечно гуляли они вместе, слушали соловьев, рвали цветы, и Мира слушала Яшины рассказы о Фане.

Наконец, Фаня с сыном вырвалась на месяц к мужу. Как яркий, красочный луч ворвалась она в нашу ссыльную жизнь. Красивая, оживленная, нарядная, ласковая, добрая, она казалась чудесным, отзывчивым товарищем. Яша расцвел, помолодел, поздоровел. Его сынишка Лева, пятилетний малыш, был не ребенком, а картинкой. И картинкой незаурядной: умненький, хорошо воспитанный, прекрасно рисовал... Его рисунки ошеломили Яшу и нас. Мальчик поступал осенью в художественное училище.

С Фаней и Левой у всей ссылки установились хорошие отношения. Фаня привезла груду своих снимков из разных фильмов. Оживленно рассказывала она о своих занятиях, об успехах. Она мрачнела, когда заговаривали о планах на будущее. И еще больше мрачнел Яша. Они очень любили друг друга, они составляли такую прекрасную пару, что радостно было смотреть на них, но Фаня увлекалась миром искусства, в котором жила, а Яша?..

Фаня приехала с целью вырвать Яшу из ссылки, из жизни, которой он жил. Она говорила о том, как

трудно получить хорошую роль в фильме, как трудно одинокой женщине пробить себе дорогу. Насколько легче было бы ей жить, если рядом стоял бы ее муж. Тогда положение ее было бы ясно. Фаня говорила, что с теми связями, которые есть у ее родных, можно добиться разрешения жить Яше в Ленинграде. Он должен только отказаться от партии, уйти от партийных дел. Она придумала ему работу, дающую совершенно независимое положение и материальную обеспеченность.

Она привезла с собой краски для раскрашивания материи. Раскрашенные платки, платья, занавеси были очень модны; за них дамы платили большие деньги. Яша быстро освоил это мастерство. Вместе выдумывали они разные узоры, составляли трафареты. Яша стал получать заказы и хорошо зарабатывать и в Чимкенте. Но перебраться в Ленинград он категорически отказался. Ни сам не станет он за себя хлопотать, ни других на это не уполномочивает.

Яша не знал за собой вины. Он не мог отказаться от своих взглядов на жизнь, не мог уйти от товарищей, свернуть с дороги, на которую вступил, перестать верить в свои идеалы.

Фаня мучалась, металась от одного плана к другому. То решала все бросить, остаться в Чимкенте с Яшей, то начинала складывать вещи.

Вместо месяца она прожила у Яши два. Она пропустила все учебные сроки — и все же уехала в Ленинград.

Через два месяца после отъезда Фани Мира получила разрешение выехать в Палестину. Если бы Яша захотел, Мира осталась бы с ним. Яша не захотел. Он понимал, что все отношения с Фаней дол-

жны оборваться, но оставался верен и Фане, и Леве.

Иначе переживал свою душевную драму Богатов. «Душечка» — окрестили мы его в ссылке. Маленького роста, коренастый, плотный, пожалуй, даже толстый, он был очень добр и жизнерадостен. Он любил жизнь, общество, любил вкусно покушать, поспать. Он много зарабатывал, получив хорошо оплачиваемую должность экономиста-плановика. Завел себе красиво, со вкусом обставленную квартирку, был хлебосолом. Его тяготила холостяцкая жизнь, хотелось семьи и уюта. В письмах к жене он настаивал, чтобы она ликвидировала московскую квартиру, бросила работу и вместе с сыном переехала к нему. Жена колебалась. Она хотела приехать только в отпуск. Она писала, что не хочет срывать учебу сына. Мальчик учился в четвертом классе прекрасной московской школы. Боялась она потерять хорошую работу. Если бы была гарантия прочной семейной жизни в Чимкенте на годы... Но разве можно быть уверенным? Сегодня Чимкент, а завтра?

«Душечка» не распутывал узел, а разрубал.

— Если у меня есть сын и жена, то короткие клочки жизни, которые перепадают на мою долю, они должны быть со мною. Я хочу вырастить из мальчика моего сына. Голос крови... все это чепуха. Сейчас я могу, мне дано оказать влияние на него, и это важнее, чем школы и классы. Никаких гарантий я дать не могу. Все не от меня зависит. Я не могу ехать к ним. Они не хотят ехать ко мне, когда и пока это возможно. Значит, у меня нет сына. Вырастет чужой юноша.

«Душечка» прекратил переписку с семьей.

Валентин Кочаровский, самый юный из нашей

ссылки, 21 год, не был эсером, не успел примкнуть к партии, а может быть, и не примкнул бы к ней. Он мало принимал участия в политических разговорах и спорах. Очень привязан он был только к Мерхалеву. В ссылке у него сложился свой круг знакомых среди чимкентской молодежи. Особенно дружил он с двумя девушками-комсомолками.

Мы всегда чувствовали, что местное население сторонится нас. От этих девушек Валентин узнал, что общение с нами противопоказано. Их прямо предупредили, что общение с ссыльными несовместимо с пребыванием в комсомоле. Но девушки не прекратили посещений ссыльных и дружбу с Валентином. Их исключили из комсомола. Мало того, их выслали в ссылку из Чимкента. Мы были — изгои.

Из местных жителей с нами тесно общался всего один человек. Это был глубокий старик, еще при царе сосланный в Чимкент. Здесь он и осел. Стал местным краеведом. Он поддерживал связь с туземным населением по кишлакам, — часто у него гостили жители далеких селений. Им были созданы богатейшие коллекции насекомых и растений края.

Он дружил с Мерхалевым, но на Самсоньевскую заходил редко. К себе зазывал всех очень гостеприимно. Он рассказывал очень интересно о жизни местного населения, о нравах, обычаях, прекрасно владел языком. Он не страшился ГПУ, но наши товарищи, оберегая его, заходили к нему редко.

Местное население

В общем, ссыльные варились в собственном соку. С туземным населением нас разделял язык, да и не очень оно благоволило к русским.

Из женщин я не встретила ни одной, говорившей по-русски, ни одной, снявшей паранджу. Дочка нашего хозяина, тринадцатилетняя Хайри, знала русский лучше других. Паранджу она надела как раз во время нашего знакомства, — скрывала лицо от наших мужчин — и гордилась ею.

Нас очень интересовали нравы и обычаи населения, но увидеть их ближе как-то не удавалось. Жизнь туземцев протекала за высокими дувалами во дворах. Мужчинам нашим вход в них вовсе был запрещен. Нас, женщин, впускали охотно, но мы не понимали друг друга и только обменивались улыбками. Во всех учреждениях и предприятиях края, где работали исключительно русские, было введено обязательное изучение казахского языка. Но преподавание велось формально, и мало кто осваивал язык.

Возглавлял предприятие казах, обычно малограмотный человек. Вел же все дела его заместитель — русский. Казахи уверяли, что после года конторской работы человек заболевает туберкулезом и должен ехать в степь к своим табунам.

Узбеки были более приспособлены к городской жизни. Они занимались торговлей и легче приобщались к культуре. Из их семей многие юноши шли в школы и даже в университеты. Сын нашего хозяина учился в Ташкенте. Какая тогда была путаница и сумятица в головах, можно понять из его свадьбы.

С детства, со дня рождения произошел сговор между родителями жениха и невесты. Родителям невесты выплачивался калым. Этим летом пришлось женить парня и взять невесту в семью. Сын, комсомолец, приехал домой на летние каникулы. Надо было справлять свадьбу. Комсомол требовал граж-

данской регистрации брака, родители настаивали на соблюдении старинных обрядов. Решено было удовлетворить всех.

Сперва молодые отправились с толпой друзей жениха в загс. Там молодая сняла паранджу, и жених впервые увидел свою невесту. Из загса невеста под паранджой вернулась к себе домой. Наутро сына выселили из отцовского дома к соседям. К дому приближалась свадебная процессия. Впереди шли музыканты с длинными-предлинными трубами. За ними ехал воз, нагруженный доверху приданым невесты, а на нем сидела и сама невеста, укрытая паранджой. За возом шли ближайшие родственники, за ними — толпа гостей и ребятишек. У входа в дом невесту встретили родители жениха, сняли ее с воза и завели в дом. В совершенно пустой комнате один угол был отделен занавесью. За нее завели невесту и оставили одну. Там, в полном одиночестве, она должна была провести три дня и три ночи. Еду в пиалах ей по полу задвигали за занавеску. Три дня во дворе шло веселье. Музыканты играли, гости рассматривали приданое жениха и невесты, развешенное, разложенное во дворе для осмотра. Тайно, незримо для окружающих все три ночи в полном мраке должен был пробираться жених к своей невесте. На четвертые сутки брак входил в законную силу. Родители жениха выводили молодую из-за занавеса, и начиналась повседневная жизнь.

И еще судьбы товарищей

Кажется, в 1927 году к нам в ссылку привезли трех больных товарищей, досрочно по болезни вывезенных из верхне-уральской тюрьмы. У всех

трех развился острый туберкулезный процесс. Одной из них была та самая Таня Гарасева, которую я встретила в челябинской пересылке.

Положение больных было очень серьезным. Жара — летом, сырая дождливая погода — зимой вовсе не благоприятствовали их здоровью. У Тани неделями шла горлом кровь. Она могла глотать только куски льда и мороженое. Две других с.-д., Лидия и Катя, температурили беспрерывно. Наличие больных угнетало ссыльных. По очереди обслуживали их товарищи.

Позднее, все трое, как безнадежно больные, они были освобождены от ссылки и вернулись домой умирать. Так думали все. Через много лет жизнь снова свела меня с ними. В условиях воли все они выздоровели.

Несколько встряхнула, оживила нашу жизнь амнистия по случаю десятилетия Октябрьской революции. Мы не рассчитывали на амнистию. Все мы шли в тюрьмы и ссылки не по суду, не за какие-то преступные деяния. Постановлением ОСО, по ст. 58^{10}-58^{11}, даже просто за верность своим идеалам. В тюрьмах и ссылках мы оставались теми же, что были: не отрекались от своих убеждений, не давали обетов молчания. Как же могли мы рассчитывать на амнистию, видя, что политический зажим не ослабевает, а усиливается?

И все же вслед за опубликованием амнистии мы стали получать от товарищей письма с извещением, что кое-кого из товарищей по разным ссылкам амнистируют. Вызвали в ГПУ и нас — несколько человек дальневосточников и меня. Нам объявили, что по амнистии нам сбрасывается четверть срока.

Из нашей группы у Надежды Соломоновны Дер-

ковской три четверти срока уже истекли, она получила чистый паспорт и могла ехать, куда угодно. У большинства настроение поднялось. Пошли разные толки. Только Шура ходил мрачный. Он доказывал:

— Очень грустно, что большевики укрепились настолько, что мы им больше не страшны, не опасны.

Шура мог успокоиться. Мы еще были опасны. Не успела дойти весть об амнистии до ссыльных мест, как вдогонку ей неслась новая директива: «Амнистия для политических отменяется». Только те товарищи, которым уже была объявлена амнистия, получили чистый паспорт, воспользовались им и уехали на волю.

К Пешковой полетели наши запросы. Что она могла ответить? Пешкова не могла добиться ответа даже о тех, чьи фамилии уже были включены в список. Объявленная мне амнистия осталась в силе, но чистого паспорта мне не дали. Я могла ехать куда-нибудь в «минус десять».

Нам с Шурой амнистия принесла много волнений. Шура должен был оставаться в ссылке. Остаться мне добровольно ждать его? Все говорило против этого. Сниматься с места и ехать потом всем троим одновременно — трудно материально, тем более, что, если я не поеду сразу же по освобождении, я потеряю право на бесплатный литер. Приехав на новое место, мы оба окажемся без работы. Если я одна с девочкой поеду на новое место, Шура будет пока работать и помогать мне. Через девять месяцев, когда кончится его срок, он приедет в уже обжитое место. А ехать одной с двухлетней Мусей — тяжело и в пути, и на новом месте. Да и расставаться не хотелось.

Принять решение помогло нам ГПУ. В одной из ре-

гистраций всем эсерам было объявлено, что ссылка в Чимкенте ликвидируется и всех их перебросят в другое место. За сутки должны были они собраться на этап, сдать служебные дела и явиться в указанный час в ГПУ. Шуре одновременно было указано, что, если я не выеду немедленно из Чимкента, в литере мне будет отказано.

Куда везут товарищей, им не сказали. Ехать с ними этапом я не могла. Какие условия будут в новой ссылке — неизвестно. В нашем распоряжении были одни сутки. Собраться с вещами ссыльному недолго. Сложней было решить, куда ехать мне с Мусей. Два момента определяли наш выбор, ограниченный десятью пунктами: близость к месту жительства отца, которого мне страстно хотелось видеть, и выбор такого места, городка, в котором не было бы ссыльных товарищей, отбывающих «минус». Мы хотели быть свободными от круговой поруки, чтобы отвечать только за себя в случае ухода из «минуса». Ведь к «минусу» мы тоже прикреплялись сроком на три года.

Склонившись над картой, перебирали мы города близ Москвы. При обширной переписке, которую вели ссыльные, мы знали о местах пребывания очень многих товарищей. Город за городом отпадали. Казань — большая ссылка. Курск — тоже. Тверь... — тоже. Тула... — тоже. Так наткнулись мы на Рязань. От Москвы недалеко, никого из ссыльных как будто нет. Расспросили друзей. Никто о «минусах» — ссыльных в Рязани не знал. Неожиданно выяснилось, что Таня Гарасева из Рязани. Мы пошли к ней. Таня обрадовалась нашему выбору. В Рязани жили ее родители, старшая сестра с дочуркой.

— Поезжайте, Катя, — твердила Таня. — Старич-

ки у меня чудесные. Они вам помогут, а вы им обо мне расскажете.

Тут же Таня написала письмо родителям и вручила мне. Утром я проводила Шуру на этап, вечером оставшиеся в Чимкенте товарищи посадили меня с Мусей в вагон прямого пассажирского поезда Алма-Ата — Москва.

8. ПО «МИНУСУ» В РЯЗАНИ

Первый раз после долгих лет ехала я без сопровождающих. Я всегда очень любила поездки, но сейчас... увы, я не была вольной птицей, как раньше. Со мной была дочка, за которую я боялась, которая осложняла каждую мелочь в пути. За последние годы я привыкла к товарищеской среде, отвыкла от посторонних, остерегавшихся общения с нами, клеймеными. Мир как бы делился на «своих» и «чужих».

Особенно остро почувствовала я этот отрыв, отъезжая от Кзыл-Орды. В Кзыл-Орде наш поезд стоял полчаса. О проезде я дала телеграмму Пете Лобицыну, нашему товарищу и Шуриному другу, отбывавшему здесь ссылку. Петя недавно женился на сестре Игоря Корытнева, нашего товарища, которого я знала по Соловкам.

Ни с Петей, ни с Надей знакома я не была и, подъезжая к станции, все думала, как мы узнаем друг друга. Сомнения мои были напрасны. Увидя на перроне молодую пару, встречавшую поезд, я сразу узнала их. И они узнали меня по карточке, которую им выслал Шура.

Был жаркий казахстанский день. Надя была в легком белом платье, Петя — в белом костюме. Такие молодые, радостные, веселые! В руках у них были свертки, пакеты... Они прямо засыпали меня ими. Надя спешно говорила:

— Петя хотел цветы... Но в вагоне они так быстро завянут... Здесь курица свежая, только что за-

жаренная, ешьте сразу, и Мусе можно. Нам очень хотелось купить Мусе игрушку, да понимаем, у вас и так вещей много. Тут только одна кукла. Пусть в вагоне поиграет и бросит...

Надя была полна хозяйственными мелочами и заботами. Петя хотел распросить меня о Шуре. В окно разговаривать было неудобно, он просил меня выйти на перрон. Пробиться через вагон с Мусей на руках было трудно. Я колебалась. В разговор вмешались соседи. За день пути Муся познакомилась почти со всеми. Кто-то взял ее у меня с рук. Мы ходили с Надей и Петей по перрону и говорили без конца. Я должна была рассказать о Шуре, о Яше, о всех чимкентских друзьях. Петя рассказывал о кзылординской ссылке, о своей работе.

Петя работал в финансовом отделе Кзыл-Орды, столицы Казахстана. Работа его увлекала. Я в финансах ничего не понимала, но Петя с увлечением рассказывал, что пишет какую-то капитальную работу, что у него уже подобран богатейший материал. «Финансы при социализме» или «Организация народного хозяйства» что ли...

Разногласия между социалистами и большевиками не мешали нам верить в гибель капиталистического строя. Новые социалистические формы хозяйственного устройства интересовали всех. И многие товарищи теоретически разрабатывали эти вопросы.

О чем можно успеть поговорить на перроне вокзала? Звонок к отходу прервал нас. Мы горячо поцеловались, обнялись в последний раз, и я поднялась в вагон. Пока поезд шел тихо, они шли рядом с вагоном, потом замахали платками... Я смотрела на удаляющиеся фигурки.

— Родные ваши, какие веселые и красивые, — сказал кто-то из пассажиров.

— Да, — ответила я. Могла ли я сказать, что это друзья, которых я вижу впервые в жизни.

Да, Петя был очень красивым. Он удивительно походил на Чехова какой-то внутренней одухотворенной красотой. В 1938 году он умер в уфимской тюрьме — так сообщалось в справке о его посмертной реабилитации. Дата его смерти соответствует дню суда. Был ли он расстрелян, покончил ли с собой в знак протеста... Об этом знают только судьи и тюремщики.

С Надей связан большой период моей колымской жизни.

Мы с Мусей ехали в Рязань. Из учебников географии я, конечно, знала кое-что о Рязани. Но сведения мои были убоги. Я дала телеграмму Ане в Малаховку, не сможет ли она встретить меня в Рязани? Я обдумывала, как буду устраиваться в Рязани. «Вещи сдам на хранение, отправлюсь с Мусей к Таниным родным. Пойду искать жилье».

Но подъезжая к Рязанскому вокзалу, я увидела на перроне сестру, рядом с ней стояла Лидочка, ее дочка. Не успели мы с Аней обняться, как она сказала:

— Едем! Я сняла комнату. Правда, на самой окраине города, очень маленькую, очень плохую. Если тебе не понравится, можно потом сменить.

Вместо забот — готовое пристанище! Все тревоги свалились с моих плеч.

Комната, и правда, была крошечная, как конурка, отделенная перегородкой. Небольшое окошечко

ее выходило на застекленный коридор. В комнате стояла кровать, крохотный столик, табуретка. Когда мы четверо вошли, повернуться уже было нельзя. Девочек мы усадили на кровать, чемоданы затолкали под кровать, и тогда только смогли закрыть дверь.

Старушка-хозяйка, милая простая женщина, встретила нас приветливо. Предложила чаю, пригласила к себе в комнату. Сказала, что я могу пользоваться кухней, что Муся никого не стеснит, если будет бегать по всему дому. Живет она одна с внучатами. Старшая — на работе, младшая — в школе. Хозяйка, конечно, не знала, кто я. А я сперва ничего не говорила о себе. Очень поразил ее мой паспорт, когда я дала его ей для прописки. Мне она ничего не сказала, но через стену я слышала, как она недоуменно говорила соседке: «Сама русская, а ни в одном русском городе жить нельзя»... В моем паспорте перечислялось десять городов, в которых жительство ссыльным запрещалось.

Пыталась хозяйка выпытать сведения у Муси, Муся говорила уже чисто, хорошо. На вопрос хозяйки об отце и матери она ответила:

— Мама Олицкая, папа Федодеев, а я Мусенька Федодеева, цесерочка.

Для хозяйки «цесерочка» или «эсерочка» были равно непонятные слова. Откуда Муся взяла это слово? Наверное, не раз слышала от взрослых и усвоила.

На другой день мы с сестрой и с детьми пошли на базар и по магазинам. Рязань после Чимкента казалась мне большущим городом. Огромные магазины, массы толпящегося народа. Где и как... но мы поте-

ряли Лидочку. Аня пришла в отчаяние. Я тоже растерялась. Город был чужой. Долго бегали мы, смятенные, в страхе по базарной площади и, наконец, наткнулись на ревущую Лиду. С ней рядом стоял милиционер. Она все рассказала ему. И что мама приехала с ней встретить тетю, и что тетя приехала вчера и никого здесь не знает, и что они живут сейчас у чужой бабушки. Громче всех свою радость выражал милиционер, ничего не понявший из Лидиных рассказов. Аня и Лида плакали. Муся вторила им. Я пыталась всех утешить.

Занятые собой, мы ничего не замечали вокруг, пока меня не окликнули:

— Катя!

Кто мог знать меня в Рязани? О, Боже! Передо мной стоял с.-д. с Соловков Исаак Абрамович Розен, близкий друг Симы Юдичевой, часто бывавший в нашей камере.

Я была так уверена, что никого не встречу в Рязани! И вот тебе, пожалуйста, в первый же день... А Розен уже знакомился с сестрой и рассказывал, что здесь в «минусе» живут еще два с.-д. и двое эсеров, жена цекиста Каценеленбоген с двумя детьми и Строганов.

В наших с Шурой планах мы просчитались, но встрече я была рада. Розен был очень милый, умный, начитанный и мягкий человек. Провожая нас домой, он рассказал мне, что поселился в Рязани, потому что в Москве живет и работает его жена. Довольно часто она приезжает к нему. В Рязани очень трудно с работой. «Минусникам» работы вообще не дают. Биржа труда на учет берет, но на работу не посылает. Розен сам жил на переводы с

иностранных языков, которые эпизодически удавалось в Москве получить его жене.

Исаак Абрамович обещал зайти вечером, а мы с сестрой отправились к Гарасевым. Сестра завтра должна была уехать, ей хотелось познакомиться с людьми, которые, может быть, смогут помочь мне устроиться в Рязани.

Мы долго блуждали, разыскивая Нагорную улицу. Но зато, когда мы нашли ее и нужный нам домик, познакомились с Таниными родителями, мы были вознаграждены сторицей. Бывают же чудесные люди на свете!

Танин отец, старик-учитель, кроме педагогики, увлекался своим садиком около дома. Он превратил его в чудесный уголок земли. После природы Казахстана я с наслаждением вдыхала аромат нашей природы.

Танина мать, ласковая, милая старушечка, всплакнула над Таниным письмом, а затем всю материнскую нежность вылила на нас с Аней, на наших девочек. Она усадила нас за стол с большим никелированным самоваром и потчевала нас чаем с печеньем, вареньем, всем, что было у них в доме.

Первый раз в жизни увидела я у них маленький примитивный радиоприемник. Старушка рассказывала, как пусто стало в их домике, когда арестовали сразу и сына и двух дочек. Никаких политических взглядов у нее не было. Она говорила об огромном несчастье, которое свалилось на ее голову, на ее детей. Она хвалила своих дочурок, сына, она не допускала мысли о совершении ими какого-либо преступления, чего-либо порочащего их.

Мы сидели в столовой за большим обеденным столом, покрытым скатертью. Самовар, чашки с

блюдцами, чайные ложечки, вазочки для варенья, салфеточки... Такая обычная, такая привычная раньше обстановка, после всех скитаний, казалась мне невозможной, невероятной.

Когда мы собрались уходить, старушка засуетилась. Что предложить? Чем помочь? Ее очень расстроило, что я отказалась взять кровать, матрац, стол, стулья. Но детскую кровать она все же прислала мне в дом с возчиком. Нас она нагрузила таким количеством яблок, что мы едва донесли их.

О работе ничего утешительного сказать мне не могли. С работой — трудно, безработных — много. Из-за ареста детей отец был не в почете. Репутация старого педагога была подорвана. Я редко бывала у Гарасевых. Мы условились, что они вовсе не будут приходить ко мне. Близкие отношения со мной могли только усугубить их трудное положение. Так хотела, так просила я. Они же при встрече на улице и, если я заходила, принимали меня, как родную. Милые, чуткие люди!

Работа сестрой-няней

Началась рязанская жизнь. Я прописалась, получила хлебные карточки, прикрепившись к магазину. Стала на учет на бирже труда. Шуре через Чимкент послала свой адрес. Он жил теперь в Мерке, в местечке недалеко от Чимкента. Он уже работал. Выслал деньги. Ежедневно получала я письма.

И. А. Розен познакомил меня с Леонией Максимиллиановной Каценеленбоген. Ее муж, наш цекист, был осужден по процессу 1922 года. Он был приговорен к смертной казни, замененной затем десятью

годами тюремного заключения. Л. М. с двумя детьми моталась по ссылкам. Была она лет на 5 старше меня. Революция прервала ее образование. Она ушла с 5-го курса медицинского факультета. Медик по призванию, она сумела в Рязани найти свою работу. Она была старшей медсестрой в доме для грудных детей-подкидышей. Служащие и рабочие воспитательного дома имели казенные квартиры. Занимал воспитательный дом почти целый квартал, имел свою пекарню, свои кухни, лабораторию, прачечную. Леония Максимиллиановна рассказывала, как прекрасно он оборудован. Во главе его стояла женщина-врач — опытный, преданный делу человек. Побывав за границей для ознакомления с постановкой работы там, она применяла теперь все последние достижения. Л. М. радовалась, как многому она может научиться, как широко ставится полезная, нужная работа. Огорчало Л. М., что она не может всю себя отдать делу из-за детей. Муж ее сидел в тюрьме, детей она боготворила. Старший сынишка уже пошел в школу, младшего она поместила в детсадик. Чтобы иметь возможность больше работать, она взяла домработницу. Согласно положению о домработницах, Л. М. предоставила ей квартиру, выплачивала тарифную ставку за 8-часовой рабочий день, раз в неделю работница имела выходной день. В 7 часов утра домработница приступала к работе, в полвосьмого Л. М. уходила на работу. Мальчиков домработница уводила в школу и в садик, убирала комнату, враила обед на четверых. В час возвращался старший мальчик из школы, в 4, зайдя за младшим в садик, Л. М. приходила домой. Они обедали и, вымыв посуду, домработница уходила к се-

бе. Остаток дня, вечер, посвящался детям. Весь выходной день был занят детьми и хозяйством.

Часто и подолгу обсуждали мы с Леонией Максимиллиановной женский вопрос, вопрос раскрепощения женщины от семьи. Пока он решен не был. Общество еще не могло подменить семью.

Огорчал Л. М. и другой вопрос, не личный. Низший персонал дома еще не был на высоте. Няни, уборщицы, сестры не помогали и не могли помочь медицинскому персоналу в его экспериментальной научной работе. Л. М. осенила мысль:

— Катя, а почему бы вам не пойти работать сестрой-няней! Идите в мое отделение, как мы сработаемся!

Сперва эта идея просто удивила меня. Но Л. М. так горячо стала убеждать, что им нужны культурные, добросовестные люди, точно выполняющие назначения врача, что я согласилась. Уладить прием на работу меня, опороченного человека, по настоянию Л. М. заведующая-врач согласилась. С требованием от учреждения с биржи труда я получила направление на работу. Работать я должна была посуточно. Квартирная хозяйка согласилась за дополнительную плату присматривать за дочкой.

Робко вошла я вслед за Л. М. и старшим врачом в палаты трудников-искусственников. Шел утренний обход. Сверкающая чистота. Высокими стеклянными перегородками и ширмами разделена палата на клетки. В каждой клетке детская кроватка и тумбочка. На тумбочке стопка чистых пеленок. Все блестит чистотой. Но в кроватях лежат не дети, а скелетики маленьких старичков, обтянутые кожей.

Каждого ребенка осматривали, взвешивали, запи-

сывали суточные назначения. Заметив мое подавленное настроение, Л. М. шепнула:

— На втором этаже размещены трехлетки. Цветущие ребята! Все они вышли отсюда, из этих клеток...

Трех дней достаточно было для меня в «питомнике», чтобы увидеть то, чего не видела Л. М. Врачи осматривали детей, делали назначения, в молочной кухне приготовлялись всякие смеси, а сестры-няни перепутывали все. Они совали ребенку любую бутылочку с соской и если он достаточно быстро ее не выпивал, пересовывали ее в ротик другому. Иную порцию высасывала сама няня.

Врачи делали выводы о том, как реагирует ребенок на питание, вычерчивали диаграммы веса и температуры, меняли состав питания... а ребенок либо вовсе не ел, либо поглощал смеси всех сортов. А разве состав смеси был истинным? С молочной кухни, с общей кухни продукты уходили на сторону.

Приняв меня в свою среду, сестры-няни учили меня, как нужно выносить продукты, чтобы не попасться.

— Нечего этих сифилитиков жалеть, — уверяли они. — Матери у них — проститутки, отцы — пропойцы... О них заботятся, а наши детишки с голоду пухнут!

Что я могла ответить? Они воровали, чтобы накормить своих детей. В семье моей квартирной хозяйки дети ели картошку с солью, и той были рады, если ее было вволю.

Целый вечер проговорили мы с Л. М. Огорчение ее доходило до отчаяния. Какое счастье, что вы пришли к нам! Теперь мы наладим работу! Я с сомненьем покачивала головой. Через два дня меня выз-

вала в кабинет старший врач. Глядя в сторону, она сказала:

— Я вынуждена снять вас с работы. На этом настаивает профсоюз. Вы ведь не член профсоюза?

Я не огорчилась. Я облегченно вздохнула. Л. М. приняла мое увольнение трагически.

Дело оказалось простым. Заведующей «питомника» было указано на недопустимость принятия на работу лиц с поражением в правах. Ей прямо сказали: «Достаточно, что у вас работает Каценеленбоген».

Л. М. Каценеленбоген

Настроение у Леонии Максимиллиановны было очень тяжелое. Как-то вечером она сказала мне:

— Мне хочется рассказать один случай из своей жизни. Его я себе никогда не прощу.

Передам ее рассказ, как сумею.

— В 22-ом году шел суд над эсерами. Все остро переживали его. Смертный приговор мужу был заменен десятью годами тюрьмы. У меня на руках было двое детей. Вы знаете, как детей Виктора Чернова забрали в ГПУ? Меня тоже хотели арестовать, отобрать детей. Я долго с ними пряталась, скрывалась. Потом меня вместе с детьми выслали. После попытки забрать их у меня, я стала, как ненормальная. Я не отходила от них ни на шаг. Мы могли сидеть голодные и холодные, но оставить их я не решалась. Товарищи в ссылке помогали мне жить. От мужа вестей давно не было. И вот однажды меня вызвали в местное ГПУ. Я была готова ко всему. Арест, так арест... Но вместе с детьми. Я оделась сама, одела мальчиков и мы пошли. Мне предложили войти в

кабинет начальника, я вошла вместе с детьми. Начальник встретил меня очень любезно, даже предупредительно. Это еще больше насторожило меня.

— В нашей тюрьме, — сказал начальник, — содержится один заключенный, который тяжело болен. Он просит свидания с вами. Я решил пойти ему навстречу. Вы можете посетить его в камере.

Это прозвучало для меня невероятно. Когда и где допускали посетителей в камеры?! Я не поверила. Я сразу решила, что это ловушка. Крепко держа детей за руки, я сказала:

— Хорошо, я пойду в камеру, но вместе с детьми.

Начальник стал убеждать меня в том, что это невозможно.

— Кто же болен? — спросила я. — Он назвал Агапова.

Агапов отбывал срок вместе с моим мужем в Бутырской тюрьме. Начальник показал мне заявление: «Прошу разрешить мне свидание с Л. М. Каценеленбоген. Агапов».

Почерка Агапова я не знала. Записку сочла подделкой. Я не верила честному слову начальника, что свободно выйду из тюрьмы, что дети подождут меня в его кабинете. Я отказалась оставить детей. Меня отпустили домой.

Оказалось, что начальник говорил мне правду. Эсеры после суда, после замены смертной казни десятью годами заключения попали в ужасные условия строжайшей изоляции. И все же в тюрьме они связались друг с другом, повели борьбу за режим. Они объявили голодовку и условились голодать до конца, до удовлетворения всех своих требований. Они предвидели возможность развоза и голодать решили до соединения всех. Их-таки развезли в раз-

ные места. Агапов попал в нашу городскую тюрьму. От мужа он знал, что я отбываю здесь ссылку. Агапов был тяжело болен. Ему грозила смерть, он понимал это, но голодовки не снимал. Когда начальник получил указание, что требования голодающих удовлетворены и Агапова надлежит вернуть обратно в Москву, везти голодающего он не решался:

— Бессмысленно умирать, когда голодовка выиграна, — говорил он Агапову.

Как гарантии, Агапов требовал свидания со мной. Ему сказали, что я отказалась от свидания. Агапов не поверил ни в мой отказ, ни словам начальника о снятии голодовки. Голодающим его повезли в Москву. Его довезли, он выжил. В этом мое спасение. И все из-за детей, из-за страха...

Л. М. разлюбила свою работу. Она увидела то, чего не замечала раньше. Нашим процессникам сократили срок с десяти до пяти лет. Каценеленбоген, как и другие, пошел в ссылку. Л. М. с детьми уехала к мужу. Я очень горевала, расставаясь с ней.

Невозможно смириться с такой жизнью

Были у меня и еще попытки устроиться на работу. Более трех-четырех дней меня на работе не держали. Шура писал: «Близится конец моей ссылки. Расти Мусю. Не унывай. Приеду, разберемся во всем вместе».

После тюрьмы и ссылки в дальние края я попала в центр России. Пять лет — не такой большой срок. Пять лет — не разрывают связи с прошлым. Я стала досягаема для близких. Только папа не мог приехать ко мне. Дорога ему была не по силам. Аня

приезжала. Она свезла к себе на три дня Мусю, познакомить с дедом.

Я просила разрешения съездить на пару дней к отцу, который жил теперь у Ани в Малаховке. Мне отказали.

Собрались ко мне в гости сперва тетя, потом Рая. Обе встречи были очень нежными, очень трогательными, проникнутыми воспоминаниями детства и юности. Они навезли мне подарков, приветов от друзей. Но все же пять лет, проведенные в разных условиях, наложили отпечаток на нас самих.

— Мы поэтизировали жизнь, Катюша, — говорила мне Рая. — Основное и главное в человеке — это его желудок. Все идеалы, все стремления возникают, когда человек сыт. Грубо говоря, брюхо диктует. Ты паришь в облаках! Надо смотреть на жизнь реально. У тебя есть все для счастливой жизни: муж, прелестная дочка, а ты коверкаешь жизнь и свою, и ее. Откуда ты знаешь, что большевики не правы? Жизнь налаживается...

— Чья жизнь налаживается?

Я не видела налаженности жизни. Я видела полуголодную жизнь моих хозяев, сестер воспитательного дома, нужду рабочего люда. Я видела запуганность, придавленность, молчаливое, робкое подчинение властям.

И тетя говорила мне:

— Жизнь налаживается; интеллигенция вся примирилась с большевиками. И большевики оценили ее, создают условия для работы. Ты знаешь, Пьерик получил уже звание профессора, ему создали прекрасные условия для научной работы. Если бы ты захотела...

Я не хотела. Мир моей юности стал для меня да-

лек. Там остались два человека, верные идеалам моих юношеских лет — папа и Дима. Как я мечтала о встрече с ними!

Меня окружала чужая, незнакомая мне жизнь. Дорог-путей к людям у меня не было. Я нигде не работала, ни с кем не встречалась. Где могла я завязать знакомство? Да и знакомство со мной было людям противопоказано. Я сталкивалась с людьми в магазинах, на бирже труда, на базарах, в очередях. Там било в глаза недовольство, нужда, лишения.

Биржа труда была переполнена безработными. В магазинах ограниченное питание выдавалось по карточкам. Сперва магазины поразили меня чудесными витринами со всевозможными товарами. На мой вопрос продавец ответил просто: «Это — бутафория».

Чему научились люди — это говорить, произносить речи казенным, суконным языком.

На базарах крестьяне продавали продукты по бешеным ценам. Они были доступны лишь ответственным работникам и спекулянтам.

В те годы для партработников существовал партмаксимум. Коммунист, на какой бы ответственной работе он ни находился, не мог получать более 360 рублей. Рядовой рабочий зарабатывал от 50 до 100 рублей. Фунт мяса на базаре стоил 50 рублей.

Семья моих квартирохозяев жила очень трудно. Ко мне они привыкли и относились хорошо. Хозяйка была милой и заботливой старушкой. Овдовела она давно. Муж ее был железнодорожником, обходчиком путей. От старых времен у нее оставался домик из трех комнат и кухонька. Жила она со своей младшей дочерью, которая работала на фабрике, изготовляющей фотобумагу, и воспитывала трех

осиротевших внуков, учившихся в школе. Кланя уходила на работу в 6 утра и возвращалась в 6 вечера. Обычно, ее задерживали собрания и «ударники». В дни получки Кланя приносила с собой лакомства — кусок колбасы, селедку, семечек. В обычные дни ели картошку с солью. Школьники, особенно мальчики, жили какой-то пустой жизнью. Учились плохо, целыми днями гоняли голубей или слонялись без дела. Книг у них в доме я не видела. Старушка была религиозной, но образа и иконы висели в задней комнате, за занавесью. В субботние дни и по большим праздникам к вечеру завешивались все окна, отодвигался занавес и зажигалась лампадка. Обычно незапертая дверь закрывалась тогда на замок. Этого требовала Кланя. Она была комсомолкой.

— Если зайдет кто из товарищей, увидит иконы, расскажет на работе, тогда — увольнение.

В комсомол Кланя вступила, чтобы устроиться на работу.

Меня поражала замкнутость людей. В гости друг к другу почти не ходили. Может быть, объяснялось это тем, что угостить было нечем. Но даже молодежь не общалась между собой. Вечерами город был пуст. Не было видно веселой, гуляющей толпы. Я вспоминала свою юность — Курск... школьные годы... Куда делись оживленные, веселые группы молодежи?..

Хозяйка рассказывала мне об ужасах, пережитых Рязанью, — доносах, расстрелах, подвалах ЧК. «За слово, ведь, за слово сажают». Как-то хозяева показали мне коменданта ГПУ. «Он собственноручно расстреливает в подвалах и от каждого убитого берет себе на память зуб». Может, то были вымыслы, но откуда-то шли эти слухи об ужасах застенков.

Мне пришлось слышать много страшных рассказов о расправах с валютчиками. Приходилось слышать рассказы и о частых психических заболеваниях среди сотрудников ГПУ.

Верить рассказам или не верить? Со мною в стенах ГПУ во время следствия и допросов ничего недозволенного не допускалось.

Удручала меня странная опустошенность жизни людей, придавленность, пришибленность, запуганность.

При содействии Строганова, работавшего в правлении Потребсоюза, мне удалось получить уроки по преподаванию коммерческой арифметики на вечерних курсах повышения квалификации счетоводов.

Коммерческую арифметику я сдавала в институте. Зачетные книжки у меня были. Этого оказалось достаточным для предоставления мне работы. К занятиям я усидчиво готовилась, но на первом же уроке, войдя в класс, была потрясена — передо мной в аудитории сидели убеленные сединами старцы — бухгалтеры, счетоводы. Все они были работники-практики, начавшие с учеников — мальчишек на побегушках. Они никогда не слышали о коммерческой арифметике, не проходили даже школьной арифметики. Не знакомые с теорией, они обладали практикой, прекрасно справлялись с работой и вовсе не хотели учиться. Однако учеба была принудительной и явка на уроки — обязательной.

Первые уроки прошли хорошо, класс был полный. Пришедшие на занятия проявляли интерес, задавали вопросы, радовались облегчающим вычисления приемам. Я увлеклась, мне показалось, что я помогаю людям освоить их дело. Но с каждым днем посещаемость падала. Я винила себя в том, что не

смогла заинтересовать аудиторию. Своим отчаянием я поделилась с кем-то из преподавателей курса. Мне сказали, что посещаемость падает не только у меня. Строганов успокаивал меня, что я могу спокойно продолжать занятия и получать 20 рублей за час.

— Занятия обязательны, — говорил он. — Если вы заявите о плохой посещаемости, будут гонять людей силой, под угрозой увольнения. Деньги на курсы ассигновали, и курсы проведены будут.

То же твердили мне другие преподаватели.

Если бы хоть одни и те же люди приходили на занятия, если бы я чувствовала, что пять-шесть человек заинтересованы занятиями! Нет, каждый раз приходили другие.

Я познакомилась с одним из слушателей, и он объяснил мне:

— Учиться никто не хочет, даже не может: нет времени, нет сил. А сорвать занятия нельзя. Вот и ходят по очереди, как на дежурство. А начальство знает об этом, гоняет помаленьку, чтоб класс пустой не был, чтобы формально, пусть на бумаге, в отчете, занятия шли.

Я отказалась от работы, аргументируя свой отказ семейным положением. Новых попыток устроиться на работу я не делала, я ждала Шуру. И только заходила на биржу труда, регистрировалась, справлялась о работе.

Снова Шура с нами

Наконец, Шура приехал. С Мусей встретили мы его на вокзале. За восемь месяцев Муся отвыкла от отца, не шла к нему на руки, цеплялась за меня.

Но всего два часа понадобилась ей для восстановления прежних дружеских отношений.

С первых же дней приезда Шуры мы стали искать новую квартиру. В моей было терпимо нам вдвоем. Теперь, когда мы были с Шурой вместе, когда мы хотели поговорить, лишь психологическая отгороженность от хозяев дощечками стесняла нас. Да и тесно было втроем.

Комнату мы нашли легко. Была она незавидная, но изолированная, с отдельным ходом. Понравились нам и хозяева. Хозяин был пенсионер, рабочий — на железной дороге. Хозяйка — приветливая и добрая женщина. Жили старики вдвоем. Поговорив с нами, хозяин припомнил старые годы, стачки и забастовки 1905-го, первые месяцы 1917-го, организацию железнодорожников ВИКЖЕЛ. В сдаваемую нам комнату хозяин притащил две кровати, из своих комнат — большой стол и пару стульев. В просторной кухне, которой они почти не пользовались, мне было разрешено хозяйничать, как мне хотелось.

Шура стал на учет на бирже труда. После трех лет работы в ссылке он стал квалифицированным счетным работником. Биржа послала его на работу, но в предприятии, узнав, кто он, сразу же отослали его обратно на биржу труда. Три раза посылали его на работу, три раза снимали. На своем опыте проверил Шура то, что писала ему я, что говорили товарищи.

Мы хотели перейти на нелегальное положение. Но предварительно Шура должен был оглядеться, подготовить условия. Для этого нам нужно было некоторое время жить и работать.

Частных предприятий в то время не было. В государственные нас не брали. Уже давно назревало у

меня намерение пойти в ГПУ требовать работы. Но я ждала Шуру. Теперь мы были вместе, теперь мы оба были без работы и оба пришли к моему давнишнему желанию.

Мы сообщили о нем Розену и другим «минусникам», жившим в Рязани. Они в один голос отговаривали нас, считая наше решение бесплодной затеей. Они уже обращались в ГПУ, но получили ответ, что для посылки на работу существует биржа труда, а они-де в эти вопросы не вмешиваются. Нас не убедили товарищи, мы стояли на своем.

Мы предупредили товарищей, что без положительного ответа домой не вернемся, и в случае чего наши вещи просим переправить в ГПУ.

Утром Шура и я с Мусей пришли в ГПУ и подали письменное заявление на имя начальника, настаивая на личном приеме. Начальник вызвал нас поодиночке — сначала Шуру, потом меня. Начальник заявил, что никаких препятствий к устройству на работу с их стороны нет, что ведает трудоустройством биржа труда, что предписывать ей они ничего не могут. Мы же говорили, что жить без работы не можем, а с работы нас сразу снимают, узнав, что мы «минусники», что, очевидно, есть какой-то неписаный закон о работе для нас. Заканчивая беседу, мы заявили, что до тех пор, пока нам не будет гарантирована работа, мы из ГПУ не уйдем, так как идти нам некуда. Жить без работы мы не можем.

Выйдя из кабинета начальника, мы уселись на скамье в коридоре. Время шло. Несколько раз нам предлагали очистить помещение. Мы не двигались и забавлялись с Мусей. Наконец, начальник снова вызвал Шуру. Шура вернулся с двумя заклеенными

сургучными печатями конвертами, адресованными на биржу труда.

— Я сказал, что, если не получим работы, вернемся назад, — сообщил мне Шура.

Заведя Мусю домой, мы пошли на биржу.

Конечно, нас очень интересовало, что таят в себе конверты. Узнать это мы не смогли, но результат был ошеломляюще быстр. Через какой-нибудь час мы оба были направлены и приняты на работу. Я — делопроизводителем в контору Гиза, Шура — счетоводом-калькулятором в Заготкассе.

Срочно надо было устроить Мусю. Детсады были переполнены, детей не принимали. Хозяева согласились присматривать за девочкой в часы нашей работы. Смущало меня, что я попала в так наз. идеологическое учреждение.

С биржи мы несли обычно путевки, но начальник Гиза сразу проговорился, ему было предложено принять меня... по телефону. Рад он не был, но мною заинтересовался. Из делопроизводства он сразу изъял какие-то папки с секретными документами. И все-таки через мои руки проходили циркуляры об изъятии отдельных книг, статей, журналов.

Заведующий Госиздата Ш. был пренеприятным субъектом. С высоты своего завовского величия относился он к служащим, заискивающим перед ним. Он третировал уборщицу, заставляя себя обслуживать, как в учреждении, так и вне его. Со мной он пытался установить какие-то своеобразные отношения, даже вести дискуссии, но вскоре понял, что я ему совсем не ко двору.

В Гизе было два человека, не заискивавших перед Ш., возчик и я. Возчик, крестьянин из рязанской

слободки, не был членом профсоюза, не боялся остаться без работы — «с лошадью не пропадешь».

Ш. считал, что мы разлагаем коллектив. Мы не подписывались на заем, не посещали собраний, не принимали участия в ударниках, не ходили на демонстрации. Служащие недоумевали. Возчик их не удивлял, то был крестьянин, который не боялся безработицы. Но я?.. Почему меня приняли на работу? Почему меня не снимают с работы?..

Очевидно, бухгалтер что-то узнал, среди служащих пошел шепоток: ...Олицкая зачислена в штат по прямому указанию, снять ее с работы нельзя...

Среди сотрудников учреждений, среди работников предприятий было глубокое убеждение, что в их среде обязательно находятся информаторы — говоря простым языком, шпионы и доносчики.

Ни разу не слышала я в нашей конторе разговоров о жизни, о газетных сообщениях, событиях дня. Ни до тех пор, пока я была на подозрении, ни после.

Выяснили служащие, кто же я, после заполнения одной из очередных анкет с тысячью и одним вопросом. После этого сотрудники конторы и магазина изменили ко мне отношение, то есть на людях они держали себя так же, но когда я случайно оставалась одна с кем-либо, со мной говорили иначе.

Очень остро, очень болезненно пережила я в Госиздате празднование 1 мая. Все готовились к празднику. Витрины, плакаты, лозунги. И все они, огромное большинство, были хорошие, близкие мне по содержанию, говорили о свободе, о равенстве, о братстве, о подлинной свободе трудового народа. А я должна была стоять в стороне. Ошеломлял меня и народ, празднующий 1 мая. Подлинной праздничной радости и инициативы не было. Казенно спу-

скались лозунги, казенно составляли плакаты. Рабочие без желания, под страхом увольнения шли на демонстрацию, жалея о потраченных на нее часах. Как-то мелко подленько было это затаенно-молчаливое поведение.

Бывали случаи, когда зарвавшийся Ш. начинал орать на кого-либо из работников конторы. Каких только позорных эпитетов он ни изрыгал: и саботажники, и прихвостни буржуазии, и обыватели — контора молчала, никто не поднимал головы от своего стола. Раболепство! Мой голос был «гласом вопиющего в пустыне».

При мне он перестал ругаться, но сотрудники предупредили меня, что он расправится со мной, что он способен на любую провокацию, и в конторе меня не оставит, не потерпит.

Ничего против меня Ш. не успел предпринять. Заболела Мусенька, и я сама ушла с работы.

Условия моей работы были неприятны. Жизнь наша при работе нас обоих шла кувырком. Беготня по магазинам, приготовление пищи, уборка, стирка, забота о Мусе, о ее воспитании отнимали все свободное время. И Муся была заброшена, и мы оба не имели времени читать, заниматься, жить. Нам думалось, если я брошу работу и возьму на себя только хозяйственные заботы, мы сможем иметь досуг. Так и случилось.

Жить материально нам стало труднее. Шура набирал сверхурочной работы. Но за то время, что он был на работе, я справлялась с хозяйством. Вечера стали принадлежать нам.

Библиотека в Рязани была неплохая, мое знакомство с сотрудниками Гиза помогало доставать интересующую нас литературу.

Приезд брата Димы

Мы ждали брата. Шесть лет не виделись мы. Мне очень хотелось познакомить Диму с Шурой. Каким он стал? Ведь рассталась я с ним, когда ему было 18 лет. Что пережил он за эти годы? Ссылка с отцом в глухое село, жизнь без работы, на жалкие гроши, возвращение в Москву, педагогическая работа... Остался ли он прежним, или изменился? Заговорим ли мы с ним, как бывало, на одном языке? Встретят ли сочувствие у него наши планы? Может быть, он, как многие наши товарищи, трезво смотрит на создавшиеся условия?

Я ходила по перрону и думала. Сперва перрон был пуст, потом стал заполняться пассажирами, встречающими, провожающими. Обычная железнодорожная суета.

Наконец, раздались паровозные гудки, и из-за поворота с нарастающим гулом вынырнул поезд. Я встала в стороне от суетящейся публики. Из вагонов выходил народ. Во все глаза смотрела я... Сейчас, вот сейчас я увижу Диму. Я ждала, но появился он неожиданно. Идет прямо на меня и улыбается. Дима... Конечно, Дима... Но взрослый, совсем не такой, каким я его запомнила. 18 лет и 24 года...

Почему все они должны были погибнуть, а я одна выжила, не умеющая даже толком рассказать о них?

Дима приехал всего на три дня. Он не мог отлучиться на более долгий срок из-за работы, из-за отца, которому были необходимы его уход, его помощь.

Пока мы ехали, мы говорили только о прошлом. Тяжелую школу прошел Дима за эти годы. Восем-

надцатилетним юношей он выехал из Москвы с отцом-инвалидом на руках в «минус 32». Они выбрали Курскую область, там все же были знакомые, друзья прежних лет. Не надолго им разрешили остаться в Курске. С вокзала заехали они к родителям наших друзей, которые с отцом были близки в прошлые годы. Те до смерти испугались. Отцу и брату было неприятно видеть их тревогу, и они не задержались у них. В 7 км от Курска, в с. Шуклинка, сняли они себе избушку.

Радостно было слушать, что мои школьные друзья, Оля и Матвей, не перепугались, помогали, чем могли, навещали их в деревенской глуши. Конечно, работы у Димы не было. Жили, во всем себе отказывая, но не горевали. Читали вместе старые дореволюционные журналы, научные статьи. Под папиным влиянием Дима рос. Большинство прежних знакомых сторонилось, опасалось встреч. Но были и другие, которые тянулись к отцу и брату. К концу срока ссылки брату разрешили переехать в Курск. По окончании срока они перебрались к Ане в Подмосковье. Дима получил работу преподавателя биологии на одном из рабфаков в Москве.

Дома все наши воспоминания окончились. Шура со своей напористостью шел к цели. С Димой нам говорилось легко. Молчаливое созерцание жизни угнетало и его. Наступает возраст, когда накопление знаний, опыта не удовлетворяет уже, когда нужно приложение своих сил, пробуждается жажда деятельности. Дима ждал встречи с нами.

Если мы прожили эти годы в кругу друзей, с которыми могли обсуждать все интересующие нас вопросы, то у Димы было широкое поле для наблюдения жизни и один лишь собеседник — папа. Он

очень много дал брату, но папа был человеком прошлого поколения. С радостью услыхали мы от Димы, что все же он не совсем одинок, что есть у него друзья, которые так же, как и он, ждут встречи с нами. Друзья его, студенты, только что окончившие вузы, не примирились с окружающей действительностью, искали новых путей. Их, как и Диму, отталкивала не только наша советская действительность, но и действительность западно-европейского капиталистического мира. Друзья Димы не были связаны с кем-либо из социалистического мира, с его деятелями. Найти связи, проверить, сличить свои установки с установками социалистов, было их желанием и стремлением.

В Москве связей у Димы не было. Но его ленинградские друзья уже ждали Диму, торопили. Они не знали, что сейчас возможно, что реально, но точно знали — так жить дальше нельзя. Надо выйти из полосы молчаливого созерцания подлости, пошлости и покорности.

Дима говорил:

— Дайте нам листовки. Мы их размножим и распространим. Друзья хотят указаний, руководства, они ищут третий путь — не с коммунистами и против капитализма. Они зовут вас в Ленинград, они ручаются, что создадут для вас условия. Для начала возьмут на себя всю черновую работу.

Наша попытка идеологической работы

На другой же день Шура сел за письмо ленинградской группе. Нам нужно было познакомить ее с нашими установками, с нашими обоснованиями. Не со всеми противниками советского строя могли

мы пойти рука об руку. Лозунг «Долой коммунистов!» не интересовал нас, не сближал нас с людьми. «Вперед к социализму!» — был наш лозунг. Вперед, с того места, на котором мы находимся, не отступая ни на шаг. Вперед, исходя из конкретных условий сегодняшнего дня.

В своем письме Шура уделял основное внимание разбору оппортунистических позиций западно-европейского рабочего движения, позиций Каутского, Бауэра, Ренера; рассматривал лейбористское движение в Англии. Этим письмом нам хотелось выяснить настроение тех людей, с которыми мы хотели вступить в связь, вместе бороться за будущее. Самое сложное в нашем положении заключалось именно в том, что недовольных, противников советской власти было слишком много. И с огромным большинством этих противников нам было вовсе не по пути.

Встреча с Димой была первой обнадеживающей нас встречей. Вскоре произошла и еще одна такая встреча.

Неожиданно ко мне зашел Н., работник Гиза. Знакомство мое с ним было меньше, чем шапочное. Он, конечно, знал, что я и мой муж ссыльные социалисты. Мы о нем не знали почти ничего.

— Скучно стало бродить по улицам, забрел на огонек, — сказал он.

Сперва разговор не клеился. Мы все чувствовали себя натянуто. Но постепенно разговорились о книгах, о кино, о мелочах жизни.

Н. зачастил к нам. Приходил он обычно поздно вечером, когда город засыпал. Ясно было, что он хочет сделать свои посещения к нам незаметными. Разговоры шли, что называется, вокруг да около.

Однажды он попросил нас зайти к нему, познакомиться с женой. И тут уже прямо прибавил:

— Только приходите вечерком попозже. У нас никого не будет, никто не зайдет. Мне бы не хотелось, чтобы знали о нашем знакомстве. Жена у меня славная, на нее я, как на себя, полагаюсь.

Сперва мы с Шурой отнеслись к этому знакомству с подозрением, но постепенно Н. начал завоевывать наше расположение. Он никогда не затрагивал злободневных вопросов, не интересовался жизнью в ссылке, настроениями наших товарищей. Даже бежал от этих тем. Он просил от нас указания книг для чтения. Сын крестьянина, окончивший четыре класса, он стремился пополнить свое образование. В то же время нам все казалось, что он ищет разрешения определенных, важных для него вопросов.

Связь с деревней у него была тесная. Еще до революции ушел он мальчиком из села и поступил работать рассыльным в книжный магазин. Теперь он был продавцом в отделе научной книги.

В большинстве рязанских сел мужчины в деревнях не оставались, уходили на заработки. Крестьянствовали в деревне женщины, его мать и сестры. В 1929 году в деревне нарастали грозные события коллективизации. Организовывались колхозы. Крестьянство в них не шло. Оно держалось за свои участки, свою коровенку и лошаденку. В ту пору крестьянство даже пренебрежительно относилось к городу и к горожанам. Оно вывозило на базар товары, но заламывало за них несусветные цены.

— На что нам ваши бумажки, — говорили торговки на базарах, — что на них купишь? Идите в свои магазины и жрите по карточкам.

Мне самой приходилось выменивать у крестьян

молоко, масло, муку на белье, на соль, на мыло. Иначе прожить было невозможно.

Часто горожане ворчали на крестьян, но люди, связанные с деревней, думали иначе. Они ощущали тиски, все теснее сжимавшие деревню.

Никогда марксисты не верили в революционность русского крестьянства, не верили в роль производственной кооперации. Только необходимость заставляла большевиков выбрасывать лозунги, близкие деревне. Они отводили крестьянам третьестепенную роль, хотя основную массу населения страны составляло крестьянство. На таких настроениях выращивались и кадры, которые посылались на работу в деревню. Деревня должна была дать средства, дать во что бы то ни стало. Надо было брать, брать любыми способами.

Помню фельетон Кольцова, очень характерный для того времени. «Срочная телеграмма в сельсовет: «Отгрузите три вагона воробьев!» И крестьянам была дана команда заготовлять воробьев». Возможно, Кольцов утрировал. В статье утверждалось, что сие не измышление, а факт. Крестьянство грузило воробьев в вагоны.

Аналогичных случаев, может быть, не столь анекдотичных, было немало. О жизни деревни с тоской и болью много рассказывали нам Н. и его жена. Летом мы с Н. встречались на прогулках за городом. Разговоры наши стали откровенней, отношения ближе. Однажды он спросил Шуру :

— Вы в Москве не бываете? Мой двоюродный брат мечтает о встрече с вами.

Двоюродный брат Н. был печатником. Работал он на ротационке, выпускающей «Правду». Был он квалифицированным рабочим, хорошо зарабатывал,

неплохо жил с семьей — женой и маленькой дочуркой.

На всякий случай Шура взял его адрес. Мы уже давно обсуждали поездку в Москву. Поездка, конечно, была связана с риском. И мы все отодвигали ее, потому что я хотела съездить к сестре, повидать отца. Я считала себя обязанной съездить. Отец был стар, он все болел. Долго ли осталось ему жить? Привезти его к нам не было никакой возможности. Мне же на заявление о поездке к безногому отцу было отказано.

Малаховка. Дачное местечко. Маленькая станция возле Московско-Рязанской ж/д. Езды до нее от нас было всего три часа.

Поездка к отцу

Я все-таки решила ехать к отцу. Чтобы моя поездка прошла незамеченной квартирохозяевами, соседями, я решила ехать на одни сутки. Чтобы лишний раз не появляться на вокзале, мы попросили Н. купить мне билет.

Встреча с отцом была и радостной и тяжелой. Папа очень постарел и ослабел за это время, что мы не виделись. Он усадил меня возле себя и заставил рассказывать все пережитое на Соловках, в тюрьме, в ссылке.

Я рассказывала. Приукрашать жизнь я не считала себя вправе. Папа плакал. Я никогда раньше не видела отца плачущим. Теперь по его старческим щекам текли слезы. Он хотел побороть их, но у него не получалось, он тихо всхлипывал. Видеть папины слезы было невыносимо. Над чем он плакал?

Над моей судьбой? Над попранными идеалами своей юности? Над своим бессилием? Над нашей обреченностью?

Я утешала отца, как могла. Я уверяла его, что ни на минуту не жалею о так сложившейся жизни, что иной я не мыслю себе, что я счастлива.

— Вы... вы герои! — твердил папа.

Я улыбалась ему, я ласкала его руки. Честно говоря, я улыбалась сквозь слезы. Было горько, что даже встречей я ничего, кроме горя, не принесла отцу. Дальнейшие наши планы я не открыла отцу. С Димой при папе мы не обменивались о них ни словом.

Если Шура уйдет из ссылки, мне грозит арест. Если мы оба уйдем, он ждет нас обоих в недалеком будущем. На нелегальном положении долго не живут.

Когда я собралась уезжать, Дима пошел проводить меня на станцию. Теплой лунной летней ночью мы шли лесной тропочкой, тесно прижавшись друг к другу.

— Я переслал ваше письмо, — говорил Дима, — и получил ответ. Они ждут Шуру к себе. Подготовляют условия. Недели через две один из них приедет ко мне для личных переговоров. Я очень, очень рад встрече с вами, легче дышать стало. Только не могу я решить одного — могу ли пойти с вами? Что будет с папой?

Я ничего ему не ответила. Я не знала, что ответить. Непосильная жертва собой была и там и тут.

Когда я стояла уже на площадке вагона, когда колеса уже дрогнули, Дима сказал:

— Во всяком случае, после встречи с ребятами я приеду к вам хоть на денек.

В 6 часов утра, кода я подходила уже к нашему домику в Рязани, мне встретилась хозяйка.

— Куда это вы так рано ходили?

— Прачка просила принести пораньше белье для стирки, — соврала я.

Дома все было в порядке. Шура собирался на работу. Никто не заметил моего отсутствия.

Конспиративная поездка Шуры в Москву

Моя поездка сошла благополучно. Теперь стала на очередь Шурина. Моя носила чисто личный характер, Шурина была деловой. Она должна была стать первым нашим шагом к цели. Конечно, она была сложней моей. Мужчине передвигаться без паспорта труднее. В любой момент могли потребовать военный билет. Если здесь, в Рязани, будет замечено его отсутствие, чем объяснит он свою поездку в Москву?

Выбирая место, мы надеялись не встретить в нем ссыльных. Мы ошиблись в расчетах. К счастью, Леония Максимиллиановна уехала к мужу, но оставались Розен, Биск, Строганов, наконец, Яша Рубинштейн. Собственно, за последнего совесть у нас была спокойна. Яша после амнистии, коснувшейся его как дальневосточника, уехал к сестре в Брянск. От него шли грустные письма. На работу устроиться он не мог. Сестра и ее муж оказались чужими. Приехавшая к нему Фаня настаивала на его переезде в Ленинград. В Ленинград он съездил, пожил там около двух недель и убедился, что и Фаня, и ее семья полагают, что для жизни с Фаней и сыном в Ленинграде поступиться ему надо немногим — отказаться от партии, от политических убеждений, от полити-

ческой деятельности, которой он все равно не занимается в ссылке. Фаня ждала его шесть лет, ломала свою жизнь и Левино детство. Тогда он был связан приговором. Теперь его отказ от заботы о ней и о сыне ничем не оправдан. Ей, Фане, уже 32 года, она хочет пожить и для себя. Перед ней — широкая дорога. Она зовет его идти вместе. Яша вернулся в Брянск. Он писал о жутком чувстве одиночества, он хотел просить о переводе его в Рязань. Мы с Шурой недоумевали. Нам очень хотелось видеть Яшу, но в Чимкенте он был против наших планов. Может быть, разрыв с Фаней и жизнь в Брянске изменили его решение. Мы написали ему, что рады были бы его приезду, что настойчиво звали бы его, если его не остановят наши соображения, знакомые ему по Чимкенту. Яша приехал. Первое время, казалось, он разделял наши планы. Он принял участие в наших беседах с Димой, но чем конкретнее становились наши шаги, тем скептичней относился к нам Яша. Узнав о поездке Шуры в Москву, он решил к нам в эти дни не заходить. Нам казалось это нелепым. Страусовой манерой прятать голову... Если Шура засыпется, что изменится от того, был ли Яша у нас или нет?

Никто, кроме Яши и Н., не знал о поездке Шуры. Н. взял для Шуры билет.

Пока Шура отсутствовал, я молила Бога, чтобы никто не заходил, чтобы никто не спросил, чтобы не пришлось объяснять... Но все прошло благополучно. Шура проверил кое-какие старые связи. Не дали они ничего, кроме моральной поддержки и какой-то очень старой эсеровской литературы.

Уцелевшие в Москве старики, работники пятого года, обросли повседневностью, состарились и физи-

чески и душевно. Они радовались встрече, возможности вспомнить былые годы, узнать о старых друзьях. Собственно, на них Шура и не рассчитывал. Жили они легально, и связь с ними могла лишь облегчить провал, так как они, безусловно, под наблюдением.

Зато знакомство с двоюродным братом Н. воодушевило Шуру.

— Маленькая, чистенькая квартира. Живут они втроем. Кухонька, комната. Когда я пришел, у него был какой-то товарищ по работе. Велся общий, показалось мне, малозначащий разговор. Но постепенно я вник в суть его. У них в типографии вводили новую ротационную машину и беспрерывно требовали все новых темпов в работе, новых рекордов. Несколько дней назад произошел несчастный случай. Рабочему перебило ноги, пришлось ампутировать. Рабочие были убеждены, что несчастный случай — результат гонки, рекордистики. В цеху после аварии стихийно возникло собрание. Заговорили люди, терпение которых иссякло. Одни говорили осторожно, другие громче. Администрация перепугалась, вызвала представителей горкома, горсовета. Появился и представитель ГПУ. Произносились грозные речи, в конце концов, рабочим предложили разойтись, обещая серьезно ознакомиться с условиями работы, с техникой безопасности, с оплатой труда. Наиболее активно выступавших на собрании вызвали в ГПУ. В числе вызываемых оказался и Б. с товарищем. «Думали домой не вернемся», — говорили они, а им с три короба наговорили и путевку в Сочи на курорт дали — купить решили. Когда приятель Б. ушел, жена Б. поставила... (пропущено несколько слов — прим. перепечатывающе-

го), а мы проговорили за полночь. Б. говорил: «Нет сил терпеть и выхода не видно. Квалифицированные рабочие еще могут прокормить себя и семью. Об остальных говорить нечего». До последнего времени Б. помогали из деревни, но теперь и деревня разоряется. В деревне у Б. жили старики-родители. Он должен был им помогать, а он от них тянет то яички, то масло, то сахар. «Теперь дожили — хоть стариков к себе бери. В колхоз идти они не хотят, а их все больше притесняют. Дров рубить не дают, сено косить не дают, корову на выгон не пускают. Взял бы я их к себе, — говорил Б. — да не прокормить. И жить негде, видите, одна комнатушка. Мы еще хорошо живем, а вы в новые дома к рабочим зайдите. Ад сущий. Одна кухня на 5-7 комнат. В комнате 3-4 человека, не меньше. Взрослые на работу уйдут, придут домой — надо еду готовить. Все бабы вокруг одной плиты. Не жизнь, а какая-то склока. Не на ком горе сорвать — на самих себе срывают. А начнешь говорить о непорядках, — хоть в семье, хоть на работе, — живо рот зажмут. Сколько от нас рабочих убрали! Самых лучших. Ну, и молчишь! И молчать не под силу стало. Мне браток про вас рассказывал, потолковать захотелось».

Б. просил Шуру приезжать, останавливаться у него. Много обещать он не мог, но ночлег, угол в своем доме он обеспечит. А на указание Шуры о риске — только махнул рукой. С Шурой он договорился о встрече после своего возвращения с курорта.

Странное, совершенно неожиданное впечатление произвел на него курорт:

— Настоящих рабочих там раз, два и обчелся... Больше все какие-то барыньки и господа. Условия жизни замечательные. Питание, чистота, порядок.

Книги, кино, клуб свой. Я ем — просто давлюсь. Думаю, мои дома такой пищи не видят. И телятина, и свинина, и котлеты, и яички... фрукты в вазах на столах — ешь, сколько хочешь. Барыньки да господа носами крутят — то не вкусно, то не солоно... Вот где насмотрелся я, на кого наш брат работает. Ребятишек по селам и городам обобрали, а там роскоши всякие. Были господа и есть господа — вот с чем я с курорта приехал. Рабочим рассказал. Меня зачем туда послали? — Чтоб молчал. А я правду увидел.

К Шуриному изумлению к его второму приезду Б. приготовил целый ящик шрифта. Шрифт этот для нелегальной типографии был непригоден. По первому же оттиску можно было узнать, из какой типографии взят шрифт. Шурино объяснение очень огорчило Б. Сокрушенно говорил он о том, сколько труда и тревог стоило товарищам взять и вынести этот шрифт.

Вокруг Б. группировалось какое-то количество единомыслящих рабочих. Ни с кем из них Шура не стал знакомиться. Он ознакомил Б. с условиями конспиративной работы. Рассказал об организации цепочки из пятерок, в которых один человек только является связующим звеном. Ему же оставил Шура обращение к рабочим, нечто вроде письма, листовки.

Смерть отца. Арест Димы

Через несколько дней после Шуриного возвращения из Москвы рано утром в парадное нашего дома постучали. Я вышла открыть. На пороге стояли Аня и Дима. Оба сразу! Сердце у меня упало. А папа? С кем остался папа? Они молчали. Я повернулась и

ушла в свою комнату. Муся еще лежала в своей кроватке. Я прильнула к ней и заплакала. Я не могла ничего объяснить Шуре, не могла ничего сказать. Мне казалось, что у меня теперь нет никого на свете, кроме моей маленькой девочки. Аня и Дима вошли в комнату. Шура, растерянно стоявший надо мной, понял все. В тот же день Аня с Димой уехали.

Беда, говорят, никогда не приходит одна. Не прошло и месяца, как Аня приехала снова. По лицу ее я поняла, что что-то случилось. Войдя в нашу комнату, Аня сказала: «Дима арестован».

Во время своих поездок в Москву Шура ни разу не встречался с Димой. И все же у нас мелькнула мысль, что арест его связан с нами. Аня, наверно, прочла наши мысли.

— Вы тут ни при чем. Он сам виноват.

Вот что рассказала нам Аня.

В связи с постановлением суда по делу промпартии, вынесшему смертный приговор ряду подсудимых, по всем предприятиям и учреждениям проводились собрания рабочих и служащих для одобрения ими смертных приговоров.

Вернувшись с работы домой, Дима рассказал Ане, что избежать собрания ему не удалось. Явка была обязательной. После речей, перед тем, как был поставлен вопрос на голосование, он вышел из помещения, где проводилось собрание. Но когда он вернулся в зал, ему сказали: «А мы вас поджидали. В этом вопросе мы хотим быть единодушны». Голосование проводилось простым поднятием рук. Дима не поднял руки в одобрение смертной казни. Он не голосовал и против. Он воздержался. Раздраженно обратился к нему председатель собрания: «Что же вы думаете, Дмитрий Львович, что революцию можно делать в белых перчатках?» Дима был убежден,

что ответил очень осторожно: «Нет. Но я думаю, что на 14-ом году революции можно найти другие пути пресечения»...

Аня сказала Диме, что его песенка спета. Дима ей возражал. Но через несколько дней принесли повестку, вызов в ГПУ. Аня была уверена, что домой он не вернется. Дима спорил...

— Я носила ему передачи. Уж такая моя судьба, все вам передачи таскать.

Сейчас Диму уже отправили в лагерь на пять лет.

Не говоря о личных переживаниях, арест Димы был большим уроном для нас. Потеря каждого человека в нашей ничтожно маленькой группе — большой урон. Мы думали, что с арестом Димы оборвется и ниточка, связывающая нас с Ленинградом, но в этом мы ошиблись. Сердито ворча, Аня говорила:

— Не понимаю, почему вдруг Димин приятель заинтересовался тобой. Ты, по-моему, не была с ним знакома. Я дала твой адрес. Меня это все мало касается. Но неужели тебе все еще не надоела политика?

Когда Шура ушел на работу, и мы остались вдвоем, я сказала Ане, что лучше бы ей ко мне не приезжать во избежание всяких последствий. Аня вспыхнула:

Во-первых, она ничего не боится, во-вторых, она совершенно лояльный человек, никакого отношения к нашим делам не имела и иметь не будет. Считает наше поведение глупым и ненужным.

— Вы коверкаете жизнь и себе, и мне. Ты подумай, Катя, как бы мы хорошо жили, — ты, Шура, Дима и я, — если бы вы выбросили из головы вашу дурацкую политику.

— Одобряли бы, голосовали за смертную казнь, как ты?

Аня пожала плечами.

— Сейчас большевики держат вас в тюрьмах. Придете к власти вы, вы будете держать в тюрьмах их.

Тысячу раз мы говорили с Аней об одном и том же. Я не стала ей возражать.

Усиление репрессий

Аресты, смертные приговоры, политика, проводимая в деревне, — все указывало на усиление репрессий.

Из ссылок, из «минусов» одно за другим стали приходить письма, сообщавшие об арестах. Арестовывали — без всякой на то причины. Арестовывали людей, оканчивающих сроки, просто, чтобы не отпускать их на волю. Заколдованный круг вокруг нас смыкался. За тремя годами изолятора шли три года ссылки, затем три года «минуса» и новый арест.

Срок моего пребывания в «минусе» тоже истек. На мой вопрос о снятии с меня ограничений мне сообщили, что никаких новых распоряжений относительно меня нет.

Создавшееся положение заставляло нас форсировать события. Не было гарантии, что не сегодня, так завтра, нас не возьмут и не посадят за решетку. Шура рвался на волю. С 19 лет он скитался по тюрьмам и ссылкам. Все эти годы он настойчиво учился, думал. Его мировоззрение крепло и принимало форму стройной системы. Он делал прогнозы и выводы. Ему уже исполнилось 30 лет. Он задыхался в обстановке бездействия. Он хотел жить, действовать, нести свои убеждения людям.

Со мной было иначе. Я не чувствовала себя в силах внести свой вклад в жизнь, намечать новые вопросы, вести за собой людей. Не хватало всего того, что стимулировало Шуру. Решающим во мне было другое. Было оно, конечно, и у Шуры. Мы видели перед собой ужасную, доводившую до содрогания, коллективизацию, ее подлинное лицо. Когда все ужасы на селе были уже совершены, газеты запестрели статьями о головокружении от успехов. Успеха, конечно, не было. Были сожженные деревни, был вырезанный скот, были толпы арестантов и переселенцев, и были крестьяне, насильно загнанные в колхозы. Страна стояла перед страшной перспективой голода.

Я жила в городе. Я слышала рассказы приезжающих из деревень. Проходя по улицам Рязани, я видела магазины, торгующие конфискованным у кулаков добром. Продавались там замызганные подушки в пестрых цветастых наволочках, самотканые половики и попоны, стоптанные сапоги, поношенные тулупы и валенки. Продавались старые ведра, чугуны, ухваты. Продавалась поношенная детская одежда — штанишки, рубашечки, платья. Я слышала рассказы о том, как карательные отряды выгребали из хат кулаков, из кулацких печей чугуны и горшки с кашей. Я не могла не верить рассказам. Все эти «товары» я видела в магазинах.

На Рязанском вокзале я видела хозяев раскулаченного имущества. Десять лет уже без перерыва шло в России раскулачивание. Кто из кулаков остался на селе к 1929 году? Вдоль перрона, глубокой осенью, на дожде и в слякоти сидели крестьянские жены и матери, старухи и молодые. С ними были детишки. (Мужчин угнали вперед). Сутками выси-

живали они на вокзале в ожидании поездов на север. Позже мне рассказывали жены коммунистов, возвращавшихся из отрядов по раскулачиванию, об отчаянии их мужей. Но ведь революцию не делают в белых перчатках... И коммунисты, стиснув зубы, искореняли гидру революции — русского мужика.

Деревня мстила, то и дело хоронили жертв кулацкой расправы.

Я возвращалась домой к Мусе, смотрела в ее ясные глазки и думала: Муся вырастет, Муся спросит: «Мама, что ты делала в эти страшные годы головокружения от успехов?» И я отвечу ей: «Я растила тебя, Мусенька. Я оберегала тебя. Я затихла, притаилась в нашей комнате и дрожала за твою жизнь».

Мне было очень тяжело. Ведь у каждого есть дети, старики-родители. Каждый, идущий за народ, приносит в жертву свое личное.

В 1924 году, когда я вступила в борьбу, я оставила старика-отца, инвалида. Как же я смею не оставить сейчас мою девочку? Как я могу требовать от людей непокорности, непримиримости, мужества и жертв, если я сама не решаюсь выйти на борьбу?

Не раз в эти тяжелые дни вспоминали мы с Шурой о Володе Родине. Где он? Где осуществляет коллективизацию? Убит крестьянами или покончил с собой?

Споры с Аней доводили меня до бешенства. На каком основании можно требовать от крестьян такой высокой сознательности, почему они должны обобществлять свои крохи? А интеллигенция? А рабочий класс? Они не доросли до коммуны? Раскулачивают нищих. У этой раскулаченной бабы добра

в сто раз меньше, чем у каждой горожанки. У нее и у ее мужа с детских лет руки в мозолях, со двора гонят ее Буренку, потому что баба не идет в колхоз, потому что сама хочет доить свою корову.

9. НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Подготовка к переходу на нелегальное положение

Сперва мы думали, что Шура перейдет на нелегальное положение один, а я останусь с Мусей. Мы видели, как матерей с крошками на руках гнали общим этапом. Конечно, на меня окажут нажим для получения показаний о Шуре. Чем таскать девочку по тюрьмам и этапам, не лучше ли отослать ее к бабушке? Постепенно мы пришли с Шурой к выводу, что переходить на нелегальное положение надо бы обоим. Моей задачей станет найти квартиру где-нибудь в Подмосковье.

Как-то вечером заговорили мы о наших планах с Яшей. Угрюмо выслушал он нас. Он не возражал. Он знал о наших планах, когда переселился в Рязань. Но разделить с нами наши планы он не захотел. Что случится с ним, пусть случится. Мы не должны над этим задумываться. Но в нашу попытку он не верит и участия в ней не примет. Из предосторожности Яша перестал бывать у нас.

Трудностей перед нами было очень много. Нам обещали поддержку в Москве и Ленинграде, но обещали ее люди неискушенные, неопытные в нелегальной работе. Да и связь с ними до перехода на нелегальное положение была затруднительна и нежелательна.

Прежде всего, нам нужны были фальшивые документы. Документы в те годы были примитивные, но каждому человеку требовалось их уйма. Конеч-

но, нужно иметь паспорт. Кроме того, нужна была справка с места работы, документ о регистрации с биржи труда. Каждый приезжающий в город должен иметь документ о снятии с учета в смысле продовольственных карточек, так как люди прикреплялись к продовольственным магазинам.

Шуре нужен был военный билет. Мы знали, что в Москве на толкучке из-под полы продают паспорта. Но нам не годились эти неизвестного происхождения документы. Мы знали, что нелегальных бродяг в России тысячи, в большинстве это— сбежавшие от раскулачивания крестьяне. Они просто скрылись от ареста, жили тихонечко, устраивались на работу. Нам нужно было другое.

У меня были старые документы об окончании школы, курсов, что-то аналогичное было у Шуры. Мы сняли копии с этих документов и заверили их в горсовете. Копии мы написали так, что при разрезании листка пополам на одной половине его оказалась печать и заверяющая ее подпись. На чистой оборотной стороне мы написали нужные нам удостоверения. Особенно старались мы над моими документами. Шура не предполагал прописываться, жить легально по фальшивке. Я же должна была и на службу устроиться, и квартиру обеспечить чистую.

Как-то Н. принес нам женский паспорт, найденный им. Был он выдан на имя Зои Григорьевны Камышниковой. Паспорт был недавно выписан и нигде не прописан. Возраст владелицы паспорта совпадал с моим. Карточка, довольно туманная, пожалуй, имела со мной отдаленное сходство. Собственноручной подписи на паспорте не было. Мне очень не хотелось брать этот паспорт. Чем-то нечистым веяло мне от этого документа, может быть, жи-

вого человека. Но Шура и Н. меня уговорили, а все остальные справки мы подделали на имя, поставленное в паспорте.

Мучительным был для нас вопрос о Мусе. Бабушка соглашалась взять ее к себе. Она примирилась с неизбежной участью сына. Она подолгу гостила у нас в Рязани и подружилась с девочкой. Она водила ее в церковь. Мне казалось, что она хочет забрать ее от нас и окрестить. Что было делать? Отослать Мусю к бабушке и уйти в жизнь и борьбу? или остаться около Муси и смотреть на происходящее, притаившись в своей норе? Да и это не помогло бы. Товарищей то там, то тут арестовывали без всякого дела с их стороны. Уцелеть в те годы означало отречься от субъективной правды и признать объективную ложь.

А как показала жизнь, 1937 год, и это бы не помогло.

Мы решили отправить Мусю к бабушке. Девочке исполнилось пять лет. Как все дети, живущие среди взрослых, развита она была не по летам. Мы остерегались говорить при ней о многом, ребенок удивительно быстро схватывал разговоры окружающих. Узнавала я о разных ее мыслишках совершенно случайно.

Муся с восторгом приняла наше решение отвезти ее к бабушке. Целыми днями рассуждала она о том, какие игрушки возьмет с собой. Отвезти ее обещала дочь нашей квартирной хозяйки, едущая в Москву по делам. Но накануне отъезда, ложась спать, Муся прижалась ко мне и сказала:

— Мама, вы с папой никуда без меня не уедете?

И без конца стала повторять свой вопрос и плакать. Она требовала бесконечных уверений, что мы не уедем.

На вокзал провожать Мусю мы поехали оба. Всю дорогу до вокзала она ликовала. Дочь хозяйки везла с собой еще и своего сынишку. Дети восторженно зашли в вагон, уселись у окна. Муся спокойно простилась с нами. Улыбалась нам через окно, но в самый последний...

(Вероятно, пропущено 2 стр. — прим. перепечатывающего.)

Отъезд

Шура ушел, я стала готовиться к отъезду. Шура уехал «в никуда». Я должна была ехать куда-то. В какой-нибудь подмосковный город, устраивать жизнь, искать квартиру, работу. Чтобы не возбудить подозрений, мне нельзя ехать без вещей. А что я могу взять с собой, незаметно вынеся из дома? Я мысленно перебирала в голове вещи. Складывать вещи до вечера я не могла. Комната наша до последней минуты должна оставаться неизменной.

В понедельник, когда на часах пробило восемъ, я уже знала, что Шура не вернется, где бы он ни был. Оставалось дождаться вечера. На мое счастье старики-хозяева ушли из дому и сказали, что вернутся поздно. В узел, в одеяло поспешно связала я вещи. «Встречусь с ними, скажу — белье в стирку несу». Я складывала все, что считала необходимым взять, и тут же маскировала комнату, чтобы она сохранила жилой вид, если кто случайно заглянет. Узел получился большой. Выйти с ним из дома я могла, но тащить его до самого вокзала мне было трудно. И я решила взять с собой мешок.

Поезд отходил поздно. На улицах было темно. Выйти на какие-нибудь задворки, запихнуть узел в

мешок... Тогда и уйти удобней. Платок, полушалок надеть по-крестьянски, по-деревенски, по-бабьи. В вагоне преображусь в даму под карточку на паспорте. Я сшила постельник, чтобы в вагоне переложить в него вещи. Только бы не встретить по дороге кого-нибудь из знакомых, сослуживцев, работников ГПУ. Ведь за три года жизни в Рязани в лицо меня знали многие. В Москве думала я купить чемодан, чтобы появиться по-людски на место. Будет он пустой — и пусть, как в витринах магазинов — бутафория!

Так скоротала я день. На работу я уже не пошла.

На улице смеркалось, когда я вышла из дому. Узел был велик и тяжел. Я пробиралась к вокзалу задворками. Кругом шли пустыри. У какого-то длинного забора я остановилась, огляделась по сторонам, вытянула мешок и затолкала в него узел. На голову по-деревенски завязала платочек, на плечи, накрест, повязала шаль. Подлиннее опустила юбку. Закинув на плечи мешок, сгибаясь под ним, зашагала к вокзалу. Билет у меня был взят заранее. Поезд, которым я должна была ехать, формировался в Рязани. Его вагоны стояли уже на путях, когда я подошла, никого не встретив. Никем не замеченная, забралась я на верхнюю полку и прикинулась спящей. Суетня в вагоне все увеличивалась. Мне было грустно и смешно. Глупейшим казался маскарад. Встреть меня кто — вышло бы лучше, хуже?.. Ни один человек не бросил на меня подозрительного взгляда. А поезд уже подрагивал, покачивался. Рязань осталась позади.

Я лежала на верхней полке и думала, и не думала, и спала, и не спала. Назад путь был отрезан, впереди — неизвестность. Встречу я Шуру в Москве или не встречу? Даже этого я не знала. Если все

в порядке, — встречу. Правильно ли я поступила, не удержав Шуру и идя за ним? Иначе поступить я не могла. Не я ли всегда говорила: жить, видеть подлости и молчать — трусость или предательство. Против творящегося кругом каждый честный человек должен протестовать. Вот и Дима молчал до тех пор, пока сделка с совестью была возможна. Жизнь и порядочность принудили его нарушить молчание.

В Москву мы прибыли рано утром. Еще в поезде я упаковала вещи в постельник и на вокзале сдала их на хранение в кассу ручного багажа. Зашла в дамскую комнату, оделась, причесалась под Зою. Непривычно взбитые волосы, непривычная шапочка, непривычный синий костюм. Измененной видела я себя в зеркале. О неузнаваемости речи, конечно, быть не могло. Я просто репетировала для прописки Зою Камышникову.

До встречи с Шурой оставалось много времени. Я отправилась бродить по Москве. Семь лет назад уехала я из нее. Много воспоминаний всплывало на каждой улице, в каждом переулке. Здесь недалеко жила моя приятельница, но я не хочу встречи... Встреча со мной компрометирует каждого. Если я сверну за угол, я могу пройти мимо дома, в котором сейчас живет Муся. И этого нельзя. От соблазна сажусь скорей в автобус и еду в зоосад. На Кудринской я зашла в закусочную, поела и снова зашагала. По Поварской на Арбатскую площадь и бульварным кольцом снова на Кудринскую. Я больше не хотела бродить, а села на скамейку. В руках у меня была книга, купленная в одном из вокзальных киосков. Я раскрыла ее, склонилась над ней, но читать не могла. Напротив меня висели большие

уличные часы. То и дело поглядывала я на них, торопила взглядом стрелки.

Шуру я увидела издали. Он тоже попытался изменить внешность. В новом сером пальто, в новом сером козыристом кепи. В последнее время он отпускал маленькую курчавую бородку. Теперь — крошечные усики-испаньолку. Как и я, он несколько изменился, невнимательный взгляд, может быть, и проскользнул бы мимо, но рост, походка... Мне казалось, они выделяют его из толпы прохожих. Шура подошел, мы поздоровались за руку, как добрые знакомые. Глаза наши и улыбки сияли навстречу друг другу. Через два часа у Шуры какое-то деловое свидание...

По ряду соображений местом моего жительства Шура предполагал город Серпухов. Поезд на Серпухов отходил через три часа. Прибывал он на место в 4 часа дня. До вечера мне нужно было найти себе пристанище. Мы условились, что через неделю этим же поездом Шура приедет ко мне. Я выйду встретить его на вокзал. Тогда, в зависимости от моих и его успехов, будем планировать дальнейшее.

Времени у нас было немного и, потолковав о моем выезде из Рязани, о его первых шагах в Москве и посмеявшись над нашим маскарадом, мы разошлись. Я отправилась на Рязанский вокзал, чтобы забрать вещи и перебраться на Курский. Купив себе по дороге чемодан, вложила в него книжку, какие-то мелочи и купленные продукты. «Итак, — говорила я себе, — Зоя Григорьевна Камышникова едет в Серпухов». В поезде я придумала себе биографию, причину переезда в Серпухов. Какая бы ни подвернулась мне хозяйка квартиры, она будет спрашивать, и я должна быть готова ответить. На-

до все обдумать, запомнить, не сбиться в мелочах. Выдуманная мной история была проста.

Я разошлась с мужем. В Москве найти отдельную квартиру не было возможности. Дочку я оставила у бабушки. Сама хочу попробовать устроиться в Серпухове, так как мне говорили, что здесь легко с работой. Поступлю на работу, возьму дочку к себе. Пока не обоснуюсь материально, буду ездить в Москву, проведовать ее.

Выбросить из своей биографии Мусю я не могла.

Серпухов

Поезд остановился на ст. Серпухов. Я вышла из вагона. Город — чужой, и я — не я. За плечами — сожженные корабли, впереди — все под знаком вопроса. Прежде всего, надо найти приют.

Сдав, как и в Москве, вещи на хранение, я шла по незнакомым улицам, вглядываясь в стены, в двери... Я искала объявления о сдаче комнат. Расспрашивать прохожих мне не хотелось. Я шла и шла. Миновала центральную улицу, вышла к окраинам. Домики стали меньше, заборы меж ними длиннее. Прохожих встречалось мало. Очевидно, все они знали друг друга. На меня оборачивались, присматривались. Наконец, одна старушка, сидевшая на порожке крыльца, спросила:

— Видно, кого разыскиваете на нашей улице?

— Нет, бабушка, квартиру себе ищу, комнату.

— Ишь ты, — сказала она, — видно приезжая?

— Приезжая.

— Что ж ты, семейная или одинокая?

— Одинокая.

— И детей нет?

— Нет, я для себя одной ищу.

— Что ж, ты работать или в командировку?

— Работать буду, если устроюсь...

— Ну и хорошо, что одинокая, с детьми теперь никто не пускает. Жаль, я вчера только жиличку пустила, я бы лучше тебя взяла. Попытайся, зайди через два дома к моей куме. Говорила, если найдется одинокая, — пущу.

Я поблагодарила разговорчивую старушку и пошла по указанному адресу. Славный домик с аккуратными, чистенькими оконцами и крылечком стоял внутри ограды. Из окон его неслись звуки радио. Я долго стучала в дверь. Наконец, за ней послышалось какое-то движение. Дверь открылась. На пороге передо мной стояла точь-в-точь такая же старушка.

— Бабушка, мне сказали, что вы комнату сдаете?

— Что ты, что ты! Откуда у меня комната? Кто тебе сказал?

— Кума ваша сказала, что вы одинокую женщину пустили бы.

— А ты одинокая? ни детей, ни мужа нет? А ну, зайди. Что ж мы на крыльце-то стоим?

Через сени мы вошли в маленькую кухоньку, почти всю занятую русской печью. Старушка начала допрос с пристрастием. Попутно она сообщила мне, что комнаты у нее, собственно, нет, а есть перегородочка. Что живет с ней еще жиличка, недавно ее пустила, так, бездомная. Из села ушла. На чулочной фабрике работает.

Я рассказала старушке выдуманную в поезде историю. Что я разошлась с мужем, что бил он меня страшно, из дома выгнал, что дочка моя живет у бабушки, и там останется, а я устроюсь на работу и буду к ним ездить.

Старушка разахалась надо мной, посокрушалась над женской долей, стала меня успокаивать, что я без мужа лучше проживу и что с работой здесь легко устроюсь, что в Серпухове идет большое строительство.

В общем, квартирный вопрос теперь был решен. За 12 рублей в месяц я становилась обладательницей перегородки. При мне перетащила старушка постель дочки в зальце. В маленькой комнате, отгороженной не доходившими до потолка досками, остались столик, кровать и этажерка. Я попросила сегодня же прописать меня, так как завтра иду на биржу труда и прикреплять продуктовые карточки. Я отдала ей все справки для заверки в милиции по месту прописки и паспорт. Подавая документы, руки мои дрожали. Я была счастлива, что могу отдать их кому-то. Сама я спешила удрать на вокзал за вещами.

На мое счастье, старушка была подслеповата. Взяв паспорт и взглянув на карточку, она разахалась над тем, как я изменилась, до чего мужчины нас доводят. Я поахала вместе с ней и ушла. Домой я не торопилась. Мне хотелось придти к возвращению хозяйки. В милиции ни за что бы не поверили, что в паспорте моя фотография. Безумие, сплошное безумие было брать этот паспорт. Но теперь сожалеть поздно. Сойдет с рук, и немедленно уничтожу его, сожгу — «потеряю». Я возненавидела паспорт, возненавидела чужое имя Зои Камышниковой.

Но все обошлось хорошо. Когда я уже в сумерках вернулась домой, хозяйка отдала мне паспорт и заверенные справки. Я сейчас же запрятала этот проклятый паспорт в самый дальний угол чемодана. А через несколько дней, воспользовавшись отсутствием хозяйки, сожгла его в русской печи, сме-

шав золу кочергой. На следующий день я пустила в ход остальные фальшивки. За них я не беспокоилась. Они были без фото, и они были хорошие.

Просто и легко прикрепила я карточки в продовольственном магазине. Просто и легко встала на учет на бирже труда, зарегистрировавшись, как счетовод.

Не успела я опомниться от всех своих удач, как биржа послала меня на работу. Серпуховской строительной конторе требовался счетовод. С трепетом взяла я направление из рук барышни, сидевшей за окошечком посылки на работу. Ну, какой я счетовод? Шура в последнее время натаскивал меня в счетной работе. В Чимкенте я работала на разрядке крестьянских бюджетов. Три недели проработала я калькулятором в пошивочной. Это было все.

В стройконторе старший бухгалтер, познакомившись с направлением, послал меня к бухгалтеру материального склада. Тот мне очень обрадовался:

— Наконец, нам прислали настоящего счетовода! А то все шлют девочек со школьной скамьи. Учи их! А мы завалены работой. Вы знакомы с копир-учетом?

Я была готова провалиться на месте.

— Вот как раз с ним я не знакома.

— Ну, это не важно! Зная счетоводство, вы быстро разберетесь. Я вам сейчас объясню, — он подвел меня к большому письменному столу. — Это будет ваш стол. Прежде всего, вы проверите уже разнесенные документы. Надо разыскать ошибки. Приступите к работе завтра с 8 часов утра. Часок мы с вами вместе поработаем.

Так началась моя жизнь и работа в Серпухове. Жила я очень замкнуто. Ни о чем, кроме работы,

не беседовала со служащими. Вечерами сидела в своей комнате и читала. Хозяйка не могла нарадоваться на свою тихую квартирантку.

Ровно через неделю я встретила Шуру на Серпуховском вокзале. Вместе отправились мы обедать в серпуховскую столовую. Потом пошли в городской скверик. Вечером Шура должен был уехать.

Шура был рад моим успехам. У него дела шли куда медленней. На каждом шагу встречались препятствия, требующие отсрочки. Сейчас он собирался съездить в Ленинград, по возвращении оттуда снова заехать ко мне. Хорошо, что у меня теперь был адрес, по которому он мог писать, известить меня о дне встречи.

Чрезвычайно трудно было доставать бумагу. Она продавалась только по ордерам учреждениям. На почте в одни руки давали по 2-3 почтовых листочка. Ученические тетради распределялись только по школам. Не было возможности достать шапирографские чернила, достать восковку. Очевидно, шапирографский состав придется варить самим, но достать желатин очень трудно. Московские друзья Шуры начали потихоньку покупать желатин у спекулянтов. Но те продавали по два, по три листочка, а драли по 75 копеек за листок. С деньгами тоже плохо, заработки так малы, что сэкономить на них почти невозможно. Ему никто не говорит об этом, но он сам видит, как тяжело его питание ложится на семьи, где он ютится. Шура возлагал большие надежды на Ленинград.

В конце 1931 года страна буквально кишела нелегальными, бежавшими из деревень, жившими по липе, или вовсе без документов. Уходили из сел раскулаченные или ждавшие раскулачивания, бежали ссыльные и переселенцы. Мне часто прихо-

дилось с ними сталкиваться. Они не очень скрывали свое положение. Население относилось к ним сочувственно. Шли они в места, где был большой спрос на рабочие руки, где набирали чернорабочих, не присматриваясь к документам. Позже мне пришлось видеть целый колхоз, возникший из сбежавших с Украины «кулаков». Сбежав, они могли работать на железнодорожном строительстве. Вместе со строящейся дорогой продвигались вперед, жили в бараках. При возведении одного большого моста в Калужской области надолго задержались в одном месте, а когда работа закончилась, осели на новой земле.

Жиличка моей хозяйки тоже была беспаспортной из семьи раскулаченных. Родных ее выслали на север, а она ушла. Было ей 19 лет. В Серпухове она устроилась на работу в чулочную мастерскую, получила справку с места работы, по ней прописалась. Она тосковала по сельской жизни, по сельской молодежи.

С питанием в Серпухове, как и в Рязани, было очень трудно. Но я не ощущала голода, живя одна на свою зарплату. Обедала я в столовой, хлеба, выдаваемого на карточки, мне хватало, кое-какие продукты я привезла с собой из Москвы.

Магазины были пусты. По карточкам отпускали мизерное количество товаров, на базарах все продавалось по невероятным, недоступным ценам. С Украины шли слухи о настоящем голоде. В Серпухове от голода не умирали. Я видела очень истощенных людей, но умирающих на улице не видела. Изредка в магазинах появлялся какой-либо товар. Сразу выстраивалась очередь, люди бежали со всех сторон узнать, что дают, (бежали и с работы). В полдень уборщица нашей конторы разносила чай

для служащих, конечно, без сахара. Брали его далеко не все. Не у всех было что-нибудь к этому стакану чая. Если уборщица сообщала, что в магазине напротив продают булочки, контора пустела.

Как-то, возвращаясь домой, я увидела большую очередь у продовольственного магазина. Я ненавидела очереди и не интересовалась ими, но из разговоров суетящихся у магазина людей я узнала, что в продажу поступила горчица, лавровый лист, перец, уксус и желатин. Кажется, первый раз в жизни я засуетилась, как бы достать, как бы пролезть, пробиться к прилавку. Кажется, никто, кроме меня не интересовался желатином. Я не имела ни малейшего представления о весе желатина, о том, сколько нужно взять, сколько можно спросить. Наконец, я стояла уже перед продавцом, и он спросил:

— Сколько вам отпустить?

— Килограмм, — бухнула я первую пришедшую мне в голову меру веса.

— Зачем вам столько? — удивился приказчик.

— Я для детского дома беру. Счет мне выпишите, — врала я.

Приказчик начал отвешивать. По мере того, как росла на весах груда листков желатина, росло во мне чувство ужаса. «Куда я дену? Как донесу?» Мне казалось, что на мою растущую груду смотрят все покупатели, все продавцы. Наконец, я получила огромный сверток. Стоил он ерунду, а Шура говорил, что в Москве за листочек берут 75 копеек. Вот где можно нажить состояние! С трудом вышла я с пакетом из толпы, наполнившей магазин. Все рвались достать уксус, перец, лавровый лист. Теперь как идти по улицам? Как пронести пакет домой?

При виде покупки в руках у человека в те времена все прохожие оборачивались, спрашивали: где

купили, что купили? Проклятые листочки желатина топорщились, прорывали бумагу. Кое-как пробежав улицу, я завернула его в снятый с себя жакет. Благополучно донесла я желатин до дома, засунула его в чемодан и заперла чемодан на ключ.

В свой очередной приезд Шура был в восторге от моей покупки. Зато следователь после моего ареста ни за что не хотел поверить, что желатин я купила в магазине. Просто купила! Они были уверены, что я скрываю какой-то сложный путь, покрываю замешанных в его добывании людей.

Шуре тоже было чем похвалиться. Так же случайно, как я желатин, добыл он глицерин. Теперь мы могли сварить шапирографскую массу. Сварить... Но где и на чем? У Шуры были готовы для печатания две листовки. Люди жаждали листовок для распространения. Мы добыли бумагу.

Шура измотался за последние месяцы скитаний, работа двигалась медленно, и ускорить ее было невозможно. Короче говоря, Шура решил где-то прописаться по своим фальшивым документам. Моей хозяйке мы преподнесли нежданно-негаданно сюрприз — ко мне приезжает мой двоюродный брат — под таким соусом Шура появился в нашем доме.

Дарья Михайловна привыкла ко мне, относилась неплохо. На двоюродного брата сперва косилась, а потом стала подмигивать мне добродушно и даже уговаривала меня основать новую семью. Но согласится ли она принять в дом мужчину, прописать Шуру?

Неделя времени была у меня для обработки Дарьи Михайловны, а в случае отказа — для отыскания новой квартиры. Я повела подготовку осторожно, и Дарья Михайловна решила покровительство-

вать нам, благословить нас под своим кровом. Цель была достигнута. Она решилась прописать Шуру. Но я сама чувствовала себя довольно погано. Я привыкла к старушке и все думала о том, что скажет она, когда в один прекрасный день к ней в дом явятся с обыском и арестом? По условленному адресу написала я Шуре открыточку, приглашая его к себе. Шура приехал. Дарья Михайловна прописала его, поздравила нас, прочитала нам наставления. Мы начали семейную жизнь. По своим документам Шура стал на военный учет, устроился на работу бухгалтером-контролером в Плодовощсоюз. Мы жили в моей комнатенке и радовались беспрерывно включенному радио, дававшему нам возможность спокойно говорить обо всем, не боясь быть услышанными.

По субботним вечерам Шура уезжал в Москву, в воскресенье возвращался. Часто он привозил какие-нибудь весточки о Мусе. Последний раз он виделся с матерью, встретившись с ней на улице случайно. Он рассказал мне, что девочка здорова, что Циля подарила ей новую шапочку, Муся все твердит о том, как покажется в ней папе и маме, — пусть посмотрят, какая она красивая. Шура говорил, что девочку все полюбили и балуют.

Долго не могла я уснуть, возбужденная рассказами о дочке. Утром я проснулась от крика Муси, от ее зова: «Мама! Мама!» Голос был так реален, так жалобен. Я вскочила, села на кровать, взглянула на часы: семь. Проспала. Я стала будить Шуру. Зов Муси стоял у меня в ушах, мучил меня.

— Шура, — сказала я, — я люблю Мусю больше, чем тебя.

Заботы дня, дней, сгладили крики из моей памяти.

С переездом Шуры ко мне, мы не ограничивались

питанием в столовой. Вечерами я часто варила картошку, кипятила чай на примусе, стоявшем с разрешения хозяйки в холодном коридорчике у входа в дом.

Поздно вечером, когда все в доме уснули, сварили мы на нашем примусе шапирографскую массу и вылили ее остывать в купленный нами кухонный противень — лист, соответствующий листу заготовленной нами бумаги.

Теперь вечерами, когда хозяева укладывались спать, мы с Шурой печатали листовки. Восковки мы так и не достали, писали шапирографскими чернилами. Каждый лист давал нам до 30 хороших оттисков, в редких случаях до 40. Звуки невыключаемого радио прикрывали шум от прокатываемого валика. Часто мы заменяли его простой платяной щеткой. Работа двигалась очень медленно, но мы были упорны.

Выпустить листовки за эсеровскими подписями мы считали себя не в праве. Мы подписывались, как «Группа действия за дело народа», но аншлаг эсеров «В борьбе обретешь ты право свое» мы оставили.

Конечно, теперь, более чем через 30 лет, я не могу припомнить содержания листовок, они были присоединены к моему делу. В арест 1949 года следователь, листая мое дело, вычитывал отдельные цитаты из них. Тогда они были целы, хранились в архиве. Одна из них содержала анализ экономического положения страны. Говорилось в ней о разорении народа, об обнищании, бесправии и моральном разложении. Говорилось о диктатуре партии, о перерождении ее, о появлении мощной бюрократической прослойки. Нами ставился вопрос о том, двигается ли страна к подлинному социализму или прорастает

в госкапитализм или в госсоциализм. Вторая листовка была заглавлена — «Будет ли война?» Конец 1931 года. До мировой войны 1941 года — десятилетие. Но анализ действительности уже тогда показывал неизбежность войны при той политике, какую осуществляла партия. В листовке доказывалось, что предстоящая война в корне будет отличаться от предшествовавших войн. Что она будет носить характерную особенность, особенность политическую, особенность борьбы двух систем. Я не могу пытаться подробнее остановиться на их содержании. Я могу спутать и вложить в них мысли, которые приходили нам позже, в течение ряда лет. Но я четко помню, что в них был призыв к борьбе с тотальным строем за подлинную демократию. За демократию для всех демократических течений, за свободное рабочее движение, свободные профсоюзы, свободную кооперацию. Они призывали к борьбе против единой монопольной всевластной партии большевиков, захватившей законодательную и исполнительную власть, диктующей свою волю, свою линию поведения через все захваченные ею рабочие и кооперативные организации. Они призывали к борьбе против централизации, против Левиафана-государства, порабощающего человеческую личность, сковывающего ее всестороннее гармоническое развитие. Листовки наши говорили, наконец, о логическом развитии пути, по которому большевики ведут страну. Я помню хорошо фразу: «Мы переживаем цветочки, ягодки — впереди!»

Теперь, переписывая эти строки, я невольно думаю, что «ягодками» оказались события, получившие название «культа личности».

В следующую субботу Шура должен был ехать с нелегальным грузом. Мы торопились и успели.

Шура уехал с первой партией наших листовок. Они предназначались для Москвы и Ленинграда. Конечно, ждала я его возвращения с напряжением. Поезд приходил поздно. Весь домик наш спал, когда я выбежала на его стук. Как-то необычно, как-то странно вошел Шура в комнату. Он, не смотря на меня, отворачивался, медленно снимал пальто. Не знаю что, но что-то страшное читала я на его лице.

— Шура, что, что случилось?

— Муси больше нет.

Я ждала всего, что угодно, но только не этого. Я не поняла фразы.

— Как нет? Что значит НЕТ!

Опустившись на стул, Шура плакал.

— Ее забрали в НКВД? — спасала я себя какой-то надеждой.

Он отрицательно покачал головой. Не веря себе, не веря ему, я произносила самое страшное слово, которое он не решился произнести: «умерла»? Умерла... Я не верила тому, что говорила, и знала, что это так. Прошлое воскресенье Шура привез такие радостные вести о ней...

Слово за словом выжимал Шура из себя. Слово за словом обрушивалось на меня бездной отчаяния. Шура плакал, я не могла плакать.

Муся умерла в тот понедельник. Моя Муся умерла в тот час, когда я проснулась от ее крика, от ее печального, жалобного зова: «Мама!»

В прошлое воскресенье вечером Муся начала кашлять, хрипеть, потом задыхаться. В доме забеспокоились, всполошились, сбегали в аптеку, стали вызы-

вать скорую помощь. Безрезультатно. Девочке становилось хуже. В 6 утра, как только появилась возможность, ее снесли в детскую амбулаторию, оттуда с диагнозом — круп — немедленно отправили в больницу. В больнице врачи сказали «поздно», но по настоянию бабушки попробовали сделать операцию. Муся умерла в 7 утра. Последние часы она не могла уже ни говорить, ни плакать. Она жалобно смотрела на бабушку.

Я не смогла плакать, отчаиваться. Никто не должен был знать, что я потеряла ребенка и как потеряла. В ушах моих звучали ее слова: «Мама, вы с папой никуда не уедете?» А мы — уехали.

Перед глазами стояли ее протянутые руки из вагона поезда.

Дома я брала в руки Мусину фотокарточку и смотрела на нее. Видела же я Мусю не такой, как на карточке, — во всех других видах, позах, живая стояла она передо мной. И я откладывала карточку. Застывший образ мешал мне видеть ее живой, многообразной, изменяющейся, то плачущей, то смеющейся.

И на всю жизнь я поняла тогда, что фотографии только заслоняют собой живую память о человеке. Они нужны посторонним, не видавшим, не знавшим, не помнящим.

Еще острее я поняла это, когда Шурина мать прислала мне фотографию Муси в гробу. Только не это. Только не так...

Как могли, жили мы с Шурой. Как могли, ходили на работу. Переехали на новую квартиру. Как могли...

В следующую субботу мы сделали то, чего не должны были делать. Мы оба поехали в Москву. Мы

поехали к Шуриным родным. Я должна была увидеть Шурину мать.

Как мы приехали, как мы пришли... Знаю, что там, у родственников Шуры, была его мать, была моя сестра. День этот был, как в тумане. Только одно я помню, только одно не прощу людям. Сказал это один человек, а думали так многие.

Я не плакала, слушая рассказ Марьи Михайловны. У меня не было слез. Шура плакал. Он сидел, согнувшись у стола. Из глаз его текли слезы. Шурина мать вытирала их платком. И его дядя сказал:

— Что же ты плачешь теперь? Сперва сам бросил ребенка, а теперь плачешь?

— Шура, уйдем. Ради Бога, уйдем! — просила я.

Но мы не ушли. Нас схватили за руки, нас стали уговаривать. Мать Шуры и сестра нас удержали. Мы были там еще какое-то время, но мы замкнулись в себе.

Арест

Первая партия листовок ушла, мы готовили вторую. За нею к нам должны были приехать.

Днем мы были загружены служебной работой, по ночам печатали листовки. Мы изматывали себя до отказа. Это спасало нас от тяжелых, мрачных дум.

Был апрель. Ночь лунная, теплая. Часов около двух мы затушили лампу, улеглись. Мы еще не уснули, как внимание наше, всегда настороженное, привлек шум машины. В нашем глухом маленьком переулке машины ночью? Шум заглох у нашего дома. Мы сели на кровати. Мы уж знали, в чем дело.

В парадное застучали. В доме жили не мы одни. Не зажигая лампы, ощупью, уничтожал Шура коекакие бумаги, адреса. Стук повторился раз, другой...

Он, очевидно, разбудил соседей. Мы услышали шаги, скрип двери. Вопрос и ответ: «Телеграмма». Мы спешно одевались. Сомнений у нас не было. Прятать нам было нечего — ни шапирограф, ни толстые пачки листовок не спрячешь, не уничтожишь.

— Восемь месяцев продержались мы с тобой, Катя.

Стучали уже в дверь нашей комнаты: «Получите телеграмму».

— Собственно, она нам не нужна, — сказал Шура, открывая дверь.

Пять человек ворвались в комнату. На пороге остановился шестой, наш сосед по квартире. Его взяли, как понятого, присутствовать при обыске. При взгляде на него мы с Шурой невольно улыбнулись. Во все время обыска с лица понятого не сходило выражение страха и любопытства.

Заслонив собою дверь, как будто мы могли сбежать, один из пришедших — полный представительный коренастый человек в штатском, — спросил, обращаясь к Шуре:

— Ваше имя! отчество и фамилия?

Шура сказал: — Федодеев, Александр Васильевич.

— Ваше? — спросил он меня.

— Екатерина Львовна Олицкая.

— Очень хорошо, что сознаетесь.

— Предъявите, пожалуйста, ордер, — перебил его Шура.

— Пожалуйста, — и человек в штатском протянул две бумажки.

Ордера были выписаны с указанием двух фамилий.

— Пройдите в переднюю, — сказал он мне. — Необходим личный обыск.

Я вышла. Два конвоира вышли следом за мной.

Женщины с ними не было. Обыскивали они меня очень поверхностно. И мы вернулись в первую комнату. Там все уже было разворочено, разбросано. Поднимали полы, простукивали стены. Не касались одного — наших чемоданов, стоявших на виду. Их ошеломило наше жильё. Вещей-то, собственно говоря, не было. Очевидно, они думали, что в чемоданах белье...

Не только мы были фальшиво живущими людьми. Фальшиво было все — наша квартира, наша обстановка. Стоило притронуться к ней, как все полезло на наизнанку: из-под занавесок, салфеточек, скатертей вылезали пустые деревянные ящики. Даже кровать, когда с нее сдернули одеяло, оказалась лишенной тюфяка и подушек. Вместо тюфяка — наше пальто, вместо подушек наволочки с бельем.

На их заявление:

— Скромно живете!

Шура ответил:

— Пожалуй, не будете утверждать, что продались международной буржуазии.

— Очевидно, не придется, — сказал толстяк.

В это время один из обыскивающих взялся за чемодан.

— Не ломайте замок, — сказал Шура и подал ключ.

Листовки, шапирограф, груда бумаги и желатин были извлечены на свет.

— А это что? — торжествующе спросил человек в штатском.

— Что видите, — ответил Шура.

Наш сосед, понятой, аж приподнялся на стуле и заглянул в листовку. Толстяк грозно взглянул на него и прикрыл листовку портфелем. Улыбаясь, Шура сказал, что понятой обязан знать, что взято

при обыске. Толстяк только сверкнул глазами, понятой же поник и, казалось, что он совсем врос в свой стул. Но толстяк сделал просто. Пренебрегая правилами обыска и протоколирования, он предложил понятому удалиться. Не поднимая глаз, тот вышел. Тогда толстяк начал заниматься листовками, просматривая их, подсчитывая листы. Протокол был прост. Изъято при обыске: шапирограф один, листовка № 1 — 50 штук, листовка № 2 — 50 штук, глицерина — 1 флакон, желатина листков Н., бумаги листов Н.

— Собирайте свои личные вещи каждый отдельно.

Собраться нам было недолго. Каждый из нас взял по пустому теперь чемодану и засунул в него свое барахло. Положение чекистов было хуже. Куда упаковать изъятое?

— Вы разрешите уложить все это в ваш туалетный столик? — не без сарказма ткнул толстяк в валявшийся на полу ящик.

— Пожалуйста.

Когда все было упаковано, он предложил сопровождающим его людям взять наши и изъятые у нас вещи и рукой указал на дверь.

От нашего дома до вокзала было очень близко. Все же эти несколько метров мы проехали на машине. На перроне вокзала нас с Шурой разъединили. Толстяк с Шурой вошли в один из классных вагонов, меня другой сопровождающий любезно посадил в соседний вагон. Проводнику он предъявил два билета. В вагоне он предложил мне занять место у окна, сам устроился напротив. Никто из пассажиров не обратил на нас внимания. До самой Москвы мы оба будто спали. В Москве спутник повел меня какими-то запасными путями. После вагонной духоты я жадно дышала свежим воздухом. Мне нрави-

лось идти вдоль уходящих куда-то рельсовых путей. Я ведь знала, ждет меня тюремная камера. Мы прошли через узенький дворик, через какую-то калиточку вышли на улицу. И сразу попали в толпу пешеходов. Мой спутник предложил мне остановиться у калитки. Он напряженно осматривался. Получилась неприятная для него накладка. У калитки его должна была ждать машина. Ее не было. Мы ожидали. Не из приятных было у него положение. Отойти от меня он не мог. Двигаться в густой толпе тоже было неудобно. (Пропущена одна строка — прим. перепечатывающ.) Он нервничал. Он не знал, что я не собираюсь бежать, что бежать мне некуда. Я спокойно шла в толпе, он неотступно следовал за мной. Так шли мы до первого переулка. Свернув за угол, мы снова стали. На его счастье довольно скоро вынырнула из-за угла пустая легковая машина. Он остановил ее. Шофер не хотел брать пассажиров, но ему пришлось уступить при взгляде на предъявленный документ. Мне же предстояло еще одно удовольствие — в открытой машине пересечь всю Москву.

Сперва я не знала, куда меня везут, но вскоре догадалась, что мы едем к Бутыркам. И перед нами выросли ее стены. Ворота открылись, машина въехала в тюремный двор. Выйдя из машины, мы пересекли двор и вошли в здание тюрьмы — огромное, залитое электрическим светом помещение. Всюду надзиратели группами и толпами. Очевидно, утренняя пересмена.

10. И ОПЯТЬ В ТЮРЬМЕ

Под следствием в Бутырках

Один из надзирателей двинулся к нам, ему передал меня мой спутник. Путь мой был недалек: тут же, в нижнем этаже щелкнул замок одной из многочисленных камер. Камера, в которой я очутилась, так поразила меня, что я не услышала поворота ключа за собой. Длинная, узкая, без окна. Стены до половины окрашены в коричневый цвет. Вдоль стены длинные, тоже коричневые, деревянные нары. Камера освещалась лампочкой, пропущенной с коридора высоко над дверью. Из камеры отверстие было затянуто проволочной сеткой. Удивительное дело, нет обязательной параши! Я застучала в дверь.

— Дайте парашу!

— Здесь не полагается, — последовал ответ. — Подождите минуту, сейчас пустим в уборную.

Я услышала в коридоре характерный стук ключа о пряжку пояса — условный сигнал Бутырской тюрьмы: «Внимание, заключенный выпускается на коридор!»

Уборная была близко. Она тоже поразила меня множеством стульчаков, кранов для умывания. Где я? Очевидно, не в одиночном корпусе.

Вернувшись в камеру, я занялась осмотром стен. Много имен и фамилий было нацарапано на них, все незнакомые. Но вот эсер Сорокин, пять лет на Соловки. А мы-то думали, что после нас там не будет политических! Я нацарапала свою фамилию и

дату ареста. Пусть стена кому-нибудь передаст ее. Потом я ходила по камере. Долго ходила. Я не знала, день сейчас, вечер или ночь. За последнее время я очень устала от непрерывного нервного напряжения. Теперь все — не надо ни к чему стремиться, ничего добиваться. Лечь вот на эти деревянные нары и отдыхать. Так я и сделала — легла и заснула.

Разбудил меня поворот ключа.

— Олицкая, к следователю!

Пройдя длинным рядом коридоров, я вошла в кабинет к следователю. За прекрасным письменным столом, в светлой просторной комнате сидел толстяк, производивший у нас обыск. У стола — два кожаных кресла, у стены — кожаный диван, на полу ковер, на окнах занавеси. Движением руки следователь предложил мне сесть на стул, стоявший против него у стола.

— Вы, Екатерина Львовна, наверное, устали и хотите есть?

— Устала не очень, а есть хочу. Мне еще ничего не давали.

Следователь нажал кнопку звонка и попросил надзирателя принести завтрак. Вынул из ящика пять пачек папирос, коробку спичек и передал мне.

— Вы ведь курите? У нас здесь с этим неважно.

Одну коробку он открыл и поставил передо мной. Мы оба с удовольствием закурили.

— Прежде всего, хочу представиться. Я — Ш., буду вести ваше дело. С вашим мужем мы уже побеседовали. Кстати, все ваши деньги переведены на его лицевой счет. Он просил половину перевести на ваше имя, в ближайшее время я это сделаю.

В кабинет вошла молодая женщина в белом фартуке, белой наколке на голове. На подносе она несла завтрак — стакан чаю и три тарелочки с едой.

Французская булка, нарезанная кружочками колбаса, ветчина и халва.

— Неплохо питаетесь, — сказала я.

— Да, у нас буфет неплохой, — согласился Ш.

— Мы оба с вами устали, Екатерина Львовна. Следствие я начинать не буду, но мне надо кое-что уточнить. Вы не отказываетесь от того, что все отобранные мной при аресте вещи принадлежат вам и вашему мужу Александру Федодееву?

— Федодеев, — сказала я, — будет говорить сам, а я признаю, что все изъятое, занесенное в протокол, подписанный мною, принадлежит мне.

— И вы не отказываетесь от содержания листовок? Оно ведь знакомо вам?

— Я признаю, что содержание изъятых у меня на квартире листовок отражает мое мнение.

— Ну, на сегодня все. Можете идти, отдыхайте.

Я встала, забрала со стола папиросы и спички, сказала:

— Вы предупредите, чтоб папиросы пропустили в камеру?

— Да-да, конечно.

Из кабинета следователя надзиратель повел меня другой дорогой. По железной лестнице мы поднялись на второй этаж, свернули в... *(Пропущена одна строка — прим. перепечатывающего.)*

У одной из дверей надзиратель остановился. К нему подошел дежурный по коридору, отпер дверь, и я очутилась в нормальной тюремной камере. Довольно просторная, она освещалась высоко под потолком расположенным зарешеченным окном. Койка, тумбочка, стол, параша... В углу — калорифер центрального отопления. На дверях — правила тюремного распорядка. Теперь я почувствовала, что попала на место.

Я рада была тому, что я в одиночке. Дверь еще раз открылась. «Личный обыск». Еще раз: выдали подушку, простыню, полотенце, две миски, ложку, кружку, чайник. Все. Теперь потекут дни следствия. Долго ли продлятся они?

По закону следствие должно быть закончено в течение двух месяцев. Сколько же продлится мое?

В тюремной одиночке от двери к окну всегда стертая, протоптанная шагами арестантов дорожка. Часто арестанты ведут счет шагам. Ходьба — успокоение. Единственно доступное им занятие. Многие зэки ставят перед собой задание — вышагать за день определенное количество шагов. Шагают с утра в ожидании оправки, шагают перед обедом и ужином, пока не послышится в коридоре громыхание посуды, шагают после вечерней оправки, ожидая сигнала ко сну. В подследственной одиночной камере зэку нечем занять время. Особенно пусты дни, пока следователь не разрешит пользоваться книгами тюремной библиотеки. Раз в декаду библиотекарь обходит камеры. Одна книга выдается на десять дней.

И я ходила взад-вперед по камере. Первые дни заключения, когда много свежих впечатлений от воли, когда есть о чем напряженно думать, время проходит быстро.

Между моим первым и вторым арестом протекло восемь лет. Следа не осталось от былой романтики восприятия тюрьмы. Какую позицию займет следователь? Мое поведение на допросах было для меня ясным! Мне мучительно хотелось знать, как проследили нас. С какого времени мы попали под наблюдение. Арестован ли еще кто по нашему делу. Была ли оставлена засада в нашей квартире. У нас с друзьями, которые должны были приехать за ли-

стовками, было условлено — только при виде свечи, стоящей на окне, входить в дом. Свечу я уложила в чемодан, взятый при аресте.

В ходе допроса я могла бы установить кое-какие детали. Может быть, проговорится следователь. Но в конце концов, это — праздное любопытство, а каждое мое слово может быть использовано следствием при допросах других. Слово — серебро, молчание — золото. Слава Богу, меня взяли с листовками, политическая позиция моя ясна без всяких слов.

На допрос меня вызвали скоро, чуть ли не на следующий день, вернее, на следующую ночь. Все допросы всегда почему-то проводились ночами.

Допрос вел Ш. Держал он себя очень корректно. Осведомился о здоровье, сообщил, что внимательно ознакомился с нашими листовками, и хотел бы теперь побеседовать со мной по ряду вопросов. Я ответила, что никаких бесед в следственном кабинете вести не буду, что моя точка зрения достаточно освещена в имеющихся у него материалах. На его вопрос, что мы собирались делать с листовками, я сказала «складывать в чемодан». И он и я понимающе улыбнулись. На вопрос о том, где мы достали желатин, я честно ответила, что купила его в серпуховском продмаге. Следователь мне не поверил. Он спросил, где мы достали печать для заверки удостоверений. Я опять честно ответила, что печать поставили в Рязани, в райисполкоме. Следователь снова не поверил.

С полчаса просидели мы друг против друга, любезные, корректные, потом он сказал:

— Давайте запишем в протокол, Екатерина Львовна, что от дачи показаний вы отказываетесь.

Я согласилась.

По подписании протокола, следователь спросил у

меня, нет ли каких претензий к тюремному режиму. Претензий нет, но я попросила разрешение на получение книг.

— Как! Разве вы не пользуетесь тюремной библиотекой? Обязательно сообщу.

В это время где-то за стеной раздался крик, отчаянный крик мучаемого кем-то человека. Я вздрогнула, взглянула пристально на следователя.

— Ах, это допрашивают валютчика. С ними, знаете, иначе нельзя. — Но все же он нажал кнопку звонка и появившемуся на пороге надзирателю сказал: — Скажите, чтоб там прекратили.

— Значит, все же рассказы о том, что творится в ваших застенках...

Следователь перебил меня:

— Я вызову вас в ближайшие дни для вручения обвинительного заключения. Пока вы можете идти.

И снова позвонил и передал меня вошедшему надзирателю. Я ушла от следователя, не узнав ничего, буквально ничего о моем деле.

И потекли дни, один за другим... Я получала книги. Библиотекарь выдавал мне пять книг на декаду.

Библиотека бутырской тюрьмы была очень богатая. Странно, ее почти не коснулась чистка. Я получала такие книги, которые на воле достать было нельзя. Каталога, конечно, не было, но я просила библиотекаря приносить мне книги по определенным вопросам, и он приносил. Чтением я была обеспечена. Кроме книг я получала тюремный паек и пятнадцатиминутную прогулку.

На прогулочном дворе я гуляла одна. Я пыталась стучать в стены, на стук никто не отвечал.

Прошел месяц, прошел другой. К следователю меня тоже не вызывали. Плохо было то, что на счет мне деньги так и не перевели. Следователь не вы-

полнил своего обещания. К тюремному пайку я не могла ничего прикупить — ни папирос, ни спичек. Я, правда, получала политпаек — тринадцать папирос и десять спичек на день. Я ими обходилась, — спички я научилась колоть надвое.

Плохо было с бельем. В камеру я пришла без единой вещи. Мне приходилось кое-как стирать мое белье в бане, высушивать на калорифере. Но я зарядилась терпением. Я не позволяла себе думать о личном, о прошлом, о будущем. Много времени уделяла я изучению немецкого языка.

В начале третьего месяца меня вызвали из камеры. Я была уверена, что меня ведут, чтоб объявить мне приговор. Я была почти уверена, что мне объявят срок заключения пять лет. Я слышала еще раньше, что людям с нелегального положения дают такой срок. Я была б готова к нему.

Переступив порог следовательского кабинета, я увидела своего следователя и рядом с ним Шуру. Шура сидел за столом против следователя. Выглядел он очень плохо, это бросилось мне в глаза сразу.

Я стремительно прошла через кабинет к нему. Шура поднялся мне навстречу, мы крепко пожали друг другу руки. Но следователь вскочил и почти развел наши руки.

— Садитесь здесь, — указал он мне на стул против Шуры по другую сторону стола. — Ваш муж просил у нас свидания с вами. Так как следствие по вашему делу, собственно, закончено, мы решили удовлетворить его просьбу и предоставить вам получасовое свидание.

Я смотрела на Шуру, — бледное, землистое, отекшее лицо...

— Ты голодал? — спросила я.

— Это неважно. Как видишь, я чувствую себя хорошо.

— Сколько дней?

— Одиннадцать, — ответил Шура.

— Вам не для этого предоставлено свидание, — перебил нас следователь.

Шура заговорил очень быстро.

— Я очень беспокоился. Ведь ты сидишь без денег, без выписки продуктов. Следователь обещает перевести деньги с моего лицевого счета.

— А ты?

— Я получаю посылки от матери.

«Значит, о нашем аресте знает Марья Михайловна», — мелькнуло у меня в голове.

Шура продолжал.

— Следователь заверил меня, что следствие скоро будет закончено. Тогда нам дадут длительное свидание. Пока мне обещаны книги и газеты.

— Ты все время сидел без книг?

— Да.

Сергей Сидоров

Не помню, о чем я спросила Шуру, но кто-то из-за моей спины вмешался, бросил реплику. Я быстро оглянулась. Я не заметила раньше присутствия четвертого в кабинете. На мгновение я встретилась взглядом с человеком в чекистской форме, сидевшим за моей спиной на диване. Всего на одно мгновение встретились мы глазами, сидевший опустил голову, даже прикрыл лицо рукой. Тогда я не обратила на этот жест внимания. Я была увлечена беседой с Шурой. Мы пытались сказать друг другу что-то, понятное нам одним. Но когда свидание на-

ше кончилось, когда я вернулась в свою камеру и стала заново переживать все мелочи нашей встречи, меня встревожил вопрос: что за человек сидел за моей спиной? Почему его лицо показалось мне таким знакомым? Где я могла его видеть? Почему он закрыл лицо рукой?

Я не могла вспомнить. Когда я улеглась на койку и закрыла глаза, лицо незнакомца снова всплыло передо мной. Я всматривалась, всматривалась в него... и вдруг оно исчезло. На место его всплыло другое — лицо юноши, которого я знала восемь лет назад. Лицо под студенческой фуражкой, еще безусое. Я хотела вглядеться в него, но оба лица слились в одно. И я уже не могла себе представить ни того прежнего, ни сегодняшнего. «Сергей Сидоров», — вслух сказала я и села на койке. Я хотела, чтобы этот кошмар пропал, исчез, я хотела разделить, размежевать оба эти лица и не могла. Прошлое ожило во мне с такой реальностью, как будто это было вчерашним днем...

К нам домой, — ко мне, к Диме, к отцу — входит Сергей Сидоров. Он говорит пароль. Мы знаем, он послан к нам для вовлечения в эсеровскую группу. Сергей держит связь с ЦК партии эсеров. Он руководит работой группы, вербует новых членов. Из всей нашей студенческой группы при аресте удалось скрыться только Сергею. Мы гадаем, кто выдал нас. Мы подозреваем кого угодно, но не его.

За моей спиной в следовательском кабинете сидит человек. Он сидит так, чтобы на лицо его падала тень. При первом взгляде моем, он отворачивается и закрывает лицо рукой...

Я не в силах улежать, я вскакиваю с койки. Я отметаю мои подозрения, но в памяти вдруг встает: Шура же сказал, «мой следователь — Сидоров».

Но Сидоровых так много, как я могла подумать! Я отгоняю мысли, я запрещаю себе так думать о Сергее, о юноше, с которым мы вели задушевные беседы. Именно Сергей сообщил нам о расстреле на Соловках... Теперь я знаю, как были убиты на Соловках социалисты. Знает об этом так же точно и следователь по эсеровским делам Сидоров.

Только год спустя при встрече с товарищами я узнала с абсолютной достоверностью о тождестве двух Сергеев Сидоровых. Вслед за нашей группой Сидоров предал в 1925 году ЦБ эсеров. Был он уже в 1924 году предателем или стал им позже, будучи арестован? Разницы, собственно, нет. Но мне почему-то хочется верить последнему. Хотя едва ли тогда он смог бы занять пост следователя...

Голодовка

Переживания эти пришибли меня. Они легли таким гнетом на душу, что я оказалась выброшенной из полосы ровного, спокойного ожидания приговора.

Заявление следователя об окончании следствия по нашему делу оказалось ложным. Я понимала, никакого следствия по нашему делу не производится. Нас просто хотят взять измором. Деньги с Шуриного счета на мой не перевели. Пятнадцатиминутная прогулка и однообразное питание привели к тому, что я потеряла аппетит и почти не притрагивалась к еде. Прошло ведь около пяти месяцев сидки. Белье мое и одежда износились. Казенного женского белья в Бутырках не было.

В один из особо тяжелых дней я разругалась во время обхода с начальником тюрьмы и подала заявление о прекращении содержания меня на про-

довольственном режиме. Я требовала: газеты, часовой прогулки, права на переписку с родными, получения моих носильных вещей и (добиваться так добиваться!) свидания с Шурой.

В заявлении своем я указала, что по словам следователя следствие уже давно закончено, и я требую применения ко мне подследственного режима. В случае неудовлетворения моих требований, я приступаю к голодовке.

Я чувствовала, что слабею с каждым днем. Пусть же они там в следственных кабинетах поймут, что сломить меня им не удастся. Медленно терять силы и гибнуть за этой решеткой я не хочу. Лучше ускорить события. Может быть, мне была необходима просто нервная разрядка. В общем, я подала заявление с указанием срока — семь дней. По истечении их я начала голодать.

Я отказалась от приема пищи. В камере произвели обыск. Отобрали курево, отобрали книги.

Через три дня в камеру пришел начальник тюрьмы. Он сообщил, что мне отказано в моих требованиях и что мне следует снять голодовку.

Теперь настроение у меня было хорошее. Я только рассмеялась ему в ответ. Ежедневно в мою камеру заходил врач. Он измерял температуру и предлагал принятие пищи. Я мало ходила по камере, больше лежала. На пятнадцатый день голодовки в мою камеру вошла сестра и надзиратель. Сестра объявила, что меня переводят в больницу.

Больница была расположена в нижнем этаже тюремного здания. По коридорам Бутырской тюрьмы я шла сама. На лестнице пошатнулась и сестра взяла меня под руку.

В больнице, не дав передохнуть, меня сразу завели в ванную комнату и предложили принять ван-

ну. В ванне первый и пока последний раз в жизни я лишилась сознания. Очнулась я в больничной камере на койке. Вокруг было чисто, светло. Постель была чистая, приятная. Рядом — тумбочка. Склонившись надо мной, стояла женщина-врач.

— Вы будете кушать?

Я отрицательно покачала головой.

— Вы очень слабы. Только чашечку молока.

— Уйдите, пожалуйста, из камеры, — попросила я ее.

— Это не камера, это палата больницы. Я врач, я говорю вам о вашем здоровье. Каждый день голодовки отнимает у вас год жизни.

Не отвечая, я повернулась лицом к стене. Я не чувствовала ни мук голода, ни других страданий. Мне хотелось только спокойно лежать. Я слышала, как закрылась дверь. Врач ушла. Через несколько минут дверь снова открылась, но я не повернулась на скрип. Тогда раздался мужской голос:

— Олицкая, вы в состоянии говорить со мной?

Я обернулась, села на кровати. На стуле посреди комнаты сидел какой-то чекист.

— Что вам нужно?

— Я приехал, чтобы сказать, что ваши требования — невыполнимы, ваша голодовка — безнадежна. Неужели вы хотите умереть? Врач говорит...

Я перебила.

— Нет, я хочу жить, но в условиях, в которых вы меня держите, жить нельзя.

— Но мы не можем создать вам иной режим, пока не закончится следствие. Вы же сами затягиваете его, отказываетесь давать показания. К тому же голодовка, как метод борьбы, больше не существует.

— Как же вы пишете о голодовках политзаклю-

ченных в тюрьмах Европы? Только для нас вы отменили голодовку как способ борьбы?

На минуту он осекся.

— Я пришел к вам, чтобы предупредить вас. Меня прислали, чтобы предложить вам снять голодовку. Иначе будет применено искусственное питание.

Злость, беспомощная злость охватила меня. Конечно, я была в их руках, конечно, они могли сделать со мной, что угодно.

— Вон из камеры! — закричала я. — Но если вы примените искусственное питание, то проводить его будете или в карцере, или свяжите меня. Я предупреждаю вас, я все разобью!

Чекист выскочил за дверь. В изнеможении опустилась я на подушки. И вдруг мне ясно представилась картина, происходившая в моей палате... Полный, лоснящийся от жира следователь, и перед ним в кровати взбешенная, истощенная женщина, изрыгающая дикие крики. Мне стало смешно. Я рассмеялась. Видимо за мной следили. Открылась форточка. Очевидно, там, за стеной, решили, что я сошла с ума. В камеру вошла врач.

— Надо покушать, — сказала она. — Ведь вы себя изводите.

— Нет, — ответила я, — это они меня изводят.

— Хотя бы кусочек сахара.

Она положила два кусочка на тумбочке возле меня и ушла.

Мне страшно хотелось запустить вслед ей этим сахаром. Но я удержалась. Пусть лежит. Ведь меня он не соблазняет.

Моя камера открывалась трое суток подряд в часы обеда. На тумбочку ставился стакан молока и блюдечко с сухарями. Минут через двадцать еда убиралась, сахар оставался лежать. Я уже не вста-

вала с койки, но чувствовала себя неплохо. У меня ничего не болело, голова работала ясно. Боялась я одного — применения искусственного питания. Я придумывала, что делать, если его применят.

На девятнадцатый день голодовки в камеру вошел мой следователь Ш., и я как-то сразу почувствовала, что голодовка выиграна.

— Я уполномочен вам объявить, что мы нашли возможным удовлетворить ваше желание. Вы будете, начиная с сегодняшнего дня, получать «Правду». Вы получите получасовую прогулку. В очередной день передач с вами снесется Красный Крест и узнает, в чем вы нуждаетесь. Здесь для вас уведомление от Пешковой, — он положил на стол карточку, — так как тюрьма не обеспечена женским бельем, вам пришлет его Пешкова. Следствие по вашему делу будет закончено через две недели. Свидание с мужем мы сейчас дать вам не можем, просто исходя из вашего состояния.

Я задумалась. Мне самой было нежелательно показаться Шуре в моем теперешнем состоянии, но отказаться от вести о нем?..

А следователь говорил:

— Ваш муж здоров, он не думает голодать, он спокойно сидит и ждет приговора.

— Хорошо, — сказала я, — я отказываюсь от свидания, но вы передадите ему мое письмо и вручите мне ответ. Пока я не получу письма от мужа, голодовки не сниму.

Следователь опустил руку в карман, вынул блокнот, вырвал из него листок, протянул мне. Я написала: «Дорогой Шура, беспокоюсь твоим здоровьем, сама чувствую себя хорошо. Целую, Катя».

Следователь взял у меня листок, прочел его и сказал:

— Постараюсь доставить ответ как можно скорее.

Он ушел из камеры. Через час у меня на столике лежал очередной номер газеты «Правда», в руках у меня было письмецо — несколько строк, написанных Шуриной рукой. Вслед за письмом мне прислали стакан бульона, два крутых яйца и два белых сухарика.

Я вспомнила окончание голодовки в Соловках. Кормили меня не по Крониду. Сразу накормили всласть.

Жить стало веселей. Ежедневно мне присылали в камеру газету. От Пешковой я получила не только две смены белья и платье, но и продуктовую передачу — колбасу, масло, сахар, белый хлеб. Вернувшись из больницы в тюремную камеру, я получила получасовую прогулку.

Перевод на Лубянку-2

А время шло. Прошло две или три недели.

Однажды дверь моей камеры отворилась в неположенное время. Мне предложили одеться и вывели из камеры. Перед тюрьмой стоял «черный ворон». Везли меня долго. Из «ворона» я вышла во двор какой-то тюрьмы. Опять коридор. Тюрьму я узнала. Это была «Лубянка-2». Меня ввели в камеру до смешного похожую на мою прежнюю.

Зачем меня привезли сюда? Новый режим?.. Опять без книг, без газет, без прогулок. Во внутренней тюрьме ничего, конечно, не дадут. Я попыталась стучать в стены. Без ответа. Тишина. Я не думала, что во внутренней тюрьме меня продержат долго. Допросят несколько раз и назад, в Бутырки.

Я убивала время, как могла. Лепила из хлебного мякиша шарики, колечки, звездочки... Вспоминала и повторяла отрывки из стихов, какие только приходили в голову. Выдумывала продолжение судеб героев прочитанных книг.

Как-то в ожидании обеда я сидела на койке. Неожиданно отворилась дверь. Вошли двое. Маленький, щупленький, тоненький быстрыми шагами прошел в камеру. Второй, старший, я его уже узнала, остановился у дверей.

— Я начальник внутренней тюрьмы ОГПУ. Прошу встать, — отрапортовал тонкий.

Я удивленно смотрела. Такого со мной еще не случалось. По традиции еще с царских лет политзаключенные не вставали при входе начальства. Ко мне до сих пор не предъявляли такого требования. Пораженная, не успев подумать, подняв удивленно брови, я сказала:

— Ну, положим, я не встану.

Не успела я закончить свою фразу, как начальник круто повернулся и пошел к двери. В дверях он остановился и бросил надзору:

— На оправку из камеры не выпускать!

От изумления я раскрыла рот, а потом рассмеялась. Новая мера воздействия. Им уже нечего отнять у меня. Отнимают выливание и вымывание параши! Что ж, они сами будут ее выносить, что ли? И что я теряю от этого?

Вечером меня не выпустили на оправку. Не выпустили утром. И на следующий вечер. Я ходила по камере и улыбалась. Я сочинила стихотворение о начальнике, о параше, которая постепенно наполнялась остатками еды, водой и всем остальным. Я помню из него два куплета.

Ну, положим, я не встану.
— А, хотите продолжать!
Надзиратель, запрещаю
На оправку выпускать!

Удивленно смотрит Катя
И не может разрешить.
Ты скажи, параша, сколько
Можешь дней в себя вместить?

Шутка превращалась в жизнь. Параша наполнялась. По моим расчетам емкости ее хватило бы еще дня на три. Я попросила дежурного надзирателя бумаги и карандаш для подачи заявления. Получив их, я написала моему следователю примерно так: «В связи с тем, что по распоряжению начальника внутренней тюрьмы меня не выпускают из камеры на оправку, и я не имею возможности вылить парашу, как только параша наполнится до краев, я вынуждена буду прекратить прием пищи, чтобы параша не проливалась на тюремный пол».

Улыбаясь, дала я свое заявление надзирателю. В тот же день меня вызвали к следователю.

— Что у вас там опять происходит? — спросил он меня.

— Ничего, кроме того, о чем я вам написала.

Следователь просил меня рассказать ему все подробно. Я предложила ему обратиться к начальнику тюрьмы.

— Но я не могу понять, чего вы требуете?

— Я ничего не требую. Не могу же я требовать права выливать парашу хотя бы раз в сутки.

— Можете идти, — сказал следователь. — Завтра или послезавтра я вызову вас на допрос.

Через полчаса или через час после моего возвра-

щения в камеру меня выпустили с парашей в уборную. Через неделю, в очередной обход начальника, ни он ни я не упомянули о происшедшем. Только через три недели меня вызвали на допрос. К удивлению, я увидела за столом не моего следователя, а какого-то совсем молодого человека.

Допрос он вел грубо, какими-то окриками.

— Кто кроме вас и Федодеева входил в группу? Кто вам оказывал содействие при побеге?

Довольно спокойно я ответила, что у моего следователя запротоколирован мой отказ отвечать на подобные вопросы.

— Я заставлю вас ответить! — крикнул он, стукнув кулаком по столу.

— Кричать я умею не хуже вашего, — сказала я. — В таком случае я с вами разговаривать не буду.

Внезапно зазвонил телефон. Следователь вызвал конвоира и велел отвести меня, заявив, что допрос продлится завтра.

Дрожа от возмущения и злости, вернулась я в камеру. Ни завтра, ни послезавтра меня на допрос не вызывали. Через неделю меня снова перевели в мою бутырскую одиночку Я снова получила газеты, книги, передачи Красного Креста. Для чего меня возили на Лубянку?..

Снова в Бутырках — в общей камере

Одиннадцать месяцев просидела я в одиночной подследственной камере. Я привыкла к своему одиночеству. И когда надзиратель как-то вечером пришел и сказал, что меня переводят в другую камеру, я не захотела идти. Надзиратель успокаивающе сказал:

— Да вас в общую.

Вот этого я-то и боялась.

Я не верила в возможность встретить в тюрьме товарищей, политзаключенных-женщин. Попасть к спекулянткам, к уголовным — я не хотела. Я потребовала вызова старшего. Ждать мне не пришлось. Старший был в коридоре.

— Придется вам пойти. Камера ваша нужна. Мы все крыло ремонтируем. Да и переводят вас к людям хорошим.

Старшие за одиннадцать месяцев присмотрелись ко мне. И он уговорил меня идти. Он обещал принять мое заявление к начальнику. Я собрала свои вещи. Из камеры бралось все — и тюфяк, и одеяло, и книги, и газеты. Мы прошли недалеко. Спустились этажом ниже. Вещи нес старший. Я несла книги и газеты.

Камера, в которую я вошла, была точь-в-точь такой, как моя. Но стояло в ней четыре койки. И сидели две женщины. Две койки были застланы. На одну из свободных положила я свой узел. Положив газеты и книги, я повернулась к старшему:

— Давайте бумагу для заявления.

Он подал мне бумагу и карандаш. Мысленно я уже писала заявление — или приговор или одиночка — в общей подследственной камере я сидеть не буду.

— Газету вы завтра принесете мне сюда?

— Да, — ответил старший и ушел.

Тогда я обернулась к своим сокамерницам:

— Давайте знакомиться. Я — Олицкая. По делу эсеров.

Молоденькая, приятная на вид женщина, сказала:

— Я — Мара Ловут.

Старушка промолчала.

— Вы по какому делу? — спросила я.

Теперь промолчали обе.

— То, в чем обвиняет следователь, вы смело можете говорить...

Меня перебила старушка.

— А вы по какому?

— Я — эсерка. Взята после побега из ссылки с нелегального положения одиннадцать месяцев назад...

Старушка только пожевала губами.

— Где же вы были эти одиннадцать месяцев? — спросила Мара.

— В Бутырках в одиночке. Возили на месяц во внутреннюю.

— И газеты получаете на подследственном? — спросила старушка.

— Получаю после голодовки, — ответила я.

Старушка замолчала. И тут я поняла, что мои сокамерницы относятся ко мне с подозрением. Я разостлала постель и села на койке писать заявление.

— А нам бумагу для заявления дают только в день обхода, — сказала Мара.

— Я потребовала сразу, когда объявили о переводе. Я не буду сидеть в общей камере, я требую одиночку.

— Разве одиночки лучше? — удивилась Мара.

— Мне лучше.

— Вы сказали, что вы эсерка, — спросила старушка. — А где вы были раньше?

— На Соловках, потом в Верхне-Уральском политизоляторе, потом в ссылке в Чимкенте.

— А я здесь в Бутырках тоже с одной эсеркой встретилась. С Колосовой.

— Колосова арестована?! — я подскочила на койке. — А ее муж?

— И муж тоже.

— Но за что? Ведь Евгения Евгеньевича ни разу не арестовывали с 1917 года. Он вел легальную литературную работу.

Старушка попросила меня рассказать о Соловках. После одиночного заключения мне приятно было говорить. Но старушка быстро перебила меня.

— Кого вы лично знали на Соловках?

Мне почудилось, — допрос с пристрастием, — но об этом я могла говорить.

— Разве всех перечислишь, — улыбнулась я. — Иваницкий, Мухин, Фельдман, Тарасов...

— Тарасов — мой муж, — сказала старушка.

— Борис Растович? — я сидела уже у нее на койке и пожимала ей руки. Теперь, верит она мне или нет, я могла говорить о прошлом без конца. Я хотела знать о Борисе Растовиче. Когда я назвала фамилию моего мужа, оказалось, что Тарасова знает Шуру. Наш разговор перебил надзиратель. Он просил вернуть карандаш и сдать заявление. Карандаш я отдала, заявление на его глазах порвала и бросила в парашу. Я решила остаться в камере. Мне показалось, что надзиратель усмехнулся. Чёрт с ним, я спешила вернуться к разговору с Тарасовой.

От нее я узнала о больших арестах весной 1932 года. Арестовано много старых эсеров, никогда не арестовывавшихся при советской власти, спокойно, легально живших в Москве и работавших: Колосов, его жена, Ховрин и др. Тарасова говорила, что арестовано много сотрудников Красного Креста, помогавших Пешковой в ее работе. В числе последних была и Тарасова. Причина ареста непонятна, ей обвинение до сих пор не вручено, хотя она сидит уже

почти полтора месяца. Мы разговаривали, а Мара сидела в стороне на своей койке, грустно опустив голову. Нам стало жаль ее, мы решили и ее втянуть в разговор. И мы перешли на тюремные дела.

Мара и Ольга Петровна перед моим приходом собирались есть тюрю. Сухари, высушенные на калорифере, они натерли чесноком, полученным в передаче, и залили кипятком. Теперь мы уселись над миской. Я никогда не любила и не ела чеснок. Они меня уговорили; иначе же мне будет неприятно чувствовать запах чеснока. Я попробовала тюрю и упрекнула их в надувательстве. Мне так вкусно пахло чесноковой колбасой, а вкуса колбасы во рту не было.

Тут же я узнала о Маре Ловут. Мара была правоверной коммунисткой. Она твердила о своей верности и преданности генеральной линии партии. В тюрьме это звучало несколько странно. Мару обвинили в троцкизме. Арестовали ее в связи с арестом ее подруги Хели Марецкой. От Мары я узнала о больших арестах среди членов компартии. Дело, которое ей вменялось, было связано с делом Стецкого и Марецкого. Мара уверяла, что никогда ни в какой оппозиционной группировке не была, и в то же время не верила в свое освобождение из тюрьмы. Удивительно.

Следователь на допросах запугал ее вконец. Очень красочно рассказала Мара о своем появлении в тюрьме. Она никогда и не помышляла о тюрьме:

— Когда меня ввели в камеру и заперли дверь, я осталась стоять у порога. Потом вошла эта ужасная женщина и велела мне раздеться. Я не могла. Она сама стала снимать с меня все: и рубашку, и чулки. Она распустила мои волосы, заглянула в уши, в зубы... Я вся дрожала от стыда, от ужаса.

Обыск кончился. Женщина ушла. Прямо на голое тело надела Мара пальто, надвинула на голову кепку и села на койку. Так просидела она до утра. Утром к ней в камеру внесли щетку и велели подмести камеру. Но Мара не сдвинулась с места. Щетку унесли. Предложили идти на оправку. Мара не пошла.

— Если бы не Ольга Петровна, — говорила она, — я бы с ума сошла.

Ольга Петровна улыбалась. Бывшая каторжанка, она не испугалась тюрьмы. В камере мы вели с Ольгой Петровной только обычные разговоры о том о сем. Мы не хотели говорить при Маре. Не хотели и не могли. На прогулочном дворе мы оставляли ее одну, и кружа по дорожкам, отводили душу друг с другом. Я рассказала Ольге Петровне всю историю нашего с Шурой отъезда из «минуса», об отрицательном отношении товарищей к нашей попытке работать на воле. Ольга Петровна отнеслась ко всему сочувственно. Она призналась, что месяца два назад она, вероятно, осудила бы наши действия. Теперь же, в тюремной камере, сев ни за что, ни про что, она сочувствовала нам. Ей, старой каторжанке, импонировало то, что сели мы не впустую, что взяли нас с дела, пусть неудавшегося — провалы возможны всегда.

— Может быть, я говорю так сейчас, потому что все равно всех взяли, и тех, кто ничего не делал, спокойно работал и жил в ссылках и «минусах». Уж лучше садиться так, как мы.

Тарасова рассказала мне много о воле. Она рассказала и о Колосовых, с которыми была близка.

Мы с Тарасовой ломали голову над тем, что же вызвало волну новых арестов.

Маре Ловут первой из нас троих объявили приго-

вор — три года политизолятора. Она была в отчаянии. Ее товарка, Хели Марецкая, уже отбывала срок в Суздале.

Троцкисты в тюрьмах всегда отгораживались от нас. Мара говорила нам, что она не троцкистка, что она последовательница генеральной линии партии, что ее арест — роковая ошибка. Она общалась с нами, была приветлива, даже обещала нам, скрепя сердце, что если встретит кого из наших товарищей, передаст им о встрече с нами в Бутырках. О большем мы ее не просили. Мы были благодарны ей за это. Пусть товарищи знают о нашем аресте. Мара сдержала свое обещание. Попав в Суздаль, она сообщила о нас.

Этап в Суздаль

Наконец, настал и мой черед. Меня вызвали к следователю, и он объявил, что по постановлению ОСО приговариваюсь я к пяти годам содержания под стражей и для отбытия срока направляюсь в Суздальский политизолятор. Тут же следователь сообщил мне, что все мои личные вещи, хранившиеся на Лубянке, сгорели во время пожара, что до прибытия в Суздаль я должна выслать список с перечислением имевшихся у меня вещей.

— Что ж, — ответила я, — без вещей легче на этапе будет.

— Деньги ваши переведены все на счет Федодеева. Так как вы едете вместе, перевод делать нет смысла.

Я не шла, а как на крыльях летела в нашу камеру рассказать обо всем. Теперь все пошло быстро. Для проформы меня вызвали к врачу. И прощай Бутырки, прощай Москва!.. С грустью простилась я

только с Тарасовой. Потом я узнала, что она пошла в ссылку.

В «черном вороне» встретились мы с Шурой после года следствия. Шел апрель 1933 года. В «вороне», кроме нас не было никого. Но говорить о многом было нельзя — конвой за перегородкой.

В столыпинском вагоне нас рассадили по разным клеткам, но во всем вагоне нас было двое. Нас везли во Владимирскую пересыльную тюрьму, где пять дней мы должны были ждать этапа на Суздаль. Пять дней провели мы в известном Владимирском централе. Шура — в мужской тюрьме, я — в женской. Мы получили по пять лет заключения. Год предварительного засчитывался. Значит — на четыре в Суздаль.

11. СУЗДАЛЬСКИЙ ПОЛИТИЗОЛЯТОР

В 1923 году старинная русская обитель, известный Суздальский монастырь, был использован ГПУ под тюрьму. Здесь раньше заточали важнейших государственных и церковных преступников. О заточении в Суздале я знала, конечно, из истории, о Суздале советских лет — слышала.

По приезде в Суздаль нас с Шурой сразу разъединили.

Толстые красивые кирпичные стены окружали монастырь. Чистыми усыпанными желтым песком дорожками повели меня в глубь огромного сада. После года, проведенного в камере, он казался мне сказочным. Зеленела трава, набухали почки. Там и тут по саду были разбросаны старинные здания. В одно из них завели меня. Был то тюремный каземат или монашеская келья? Помещение было крохотное. Может быть, полтора метра в длину, может быть, метр в ширину. Сводчатый потолок, толстенные стены. В одной из стен — узкое высокое окошечко, забранное ветвистой решеткой. За ним — гуща зеленеющих кустов. Окошечко было открыто. Все три часа, которые я провела в этой келейке, я простояла возле окна. В узкую щель его заглядывали солнечные лучи, лился весенний душистый воздух. От самой же кельи веяло каменной плесенью. Каково было людям, погребенным здесь на годы... Может быть, здесь была заточена жена Петра I, Евдокия.

Политизолятор — длинное, узкое, двухэтажное здание — было когда-то монастырской гостиницей. На юг смотрели окна камер, на север — окна коридора. По коридору нижнего этажа я и конвоир шли недолго. Миновав семь дверей, я вошла в восьмую, стоявшую открытой. Только решетка на окне, дверь с волчком, форточка с затвором напоминали о тюрьме. Камера — четырехугольная комната с огромной печью, глубоко выступавшей в комнату, с обычным комнатным окном... На стене у двери — умывальник, под ним на табурете — таз, рядом — помойное ведро с крышкой вместо параши. На двери — правила внутреннего распорядка. Я остановилась прежде всего перед ними. Ничего не изменилось с 1926 года. Такие же точно висели у нас в Верхне-Уральске. Я подошла к окну и залюбовалась. Зелень, деревья, цветы, трава... В отдалении, прямо против моего окна, стояла старинная высокая звонница. Где-то далеко за садом, за звонницей стены, окружавшей кремль (теперь стены тюремной ограды), золотом горели кресты на куполах, видны были колокола — большие и малые. Из моего окна не видна даже вышка часового.

Я знала, за стеной камеры — товарищи; кто неизвестно, но — друзья. Скоро я увижу их на прогулке. Скоро увижу и Шуру. Я беспрерывно бодрила себя. Весь этот год я не позволяла себе думать о Мусе. Но теперь, когда начиналась полоса ровной жизни, я не могла отогнать грустные мысли. Буду жить изо дня в день, а Муси — нет и никогда не будет.

Я стояла у окна и смотрела вдаль. Весь этот год я пыталась перестукиваться, узнать о соседях по камере. Теперь мне незачем стучать, я увижусь со всеми. Но стена передала стук — мелкую дробь вы-

зова. Я подошла к стене, дала ответную дробь. «У печки приложите ухо к стене», — стучали соседи. Четкими ударами в стену вели они меня, указывая место. Я приложила ухо. Нежданно-негаданно:

— Катюша, привет от всей камеры! К нам привели Шуру. Говорит Шолом.

Не знаю, чему я больше обрадовалась, соседству Шолома или тому, что Шура рядом. И вдруг — недоверие. А может, не Шолом? Пусть Шура у них, но откуда они знают, что я здесь? Вместо приветствия я требую к стене Шуру. Шурин голос... Шура говорит мне:

— Катя, через час будет прогулка. Обо всем договоримся. Как я рад, что с нами Шолом.

Стена умолкает.

Значит, и Шолом опять попал в тюрьму? За что? Из Верхне-Уральска он вышел позже, ссылку отбывал на севере, в Нарымском крае, потом был где-то в «минусе», жил с женой и детьми.

Теперь, когда все было ясно, все было просто, я почувствовала, как бесконечно устала я за этот год. Мне захотелось лечь на койку, закрыть глаза и уснуть, уснуть...

Но двери камер стали открываться. Сначала вдали, потом все ближе и ближе... Вкладывается ключ в замок моей камеры. Дверь открывается, перед ней люди — много людей, кажется мне. Впереди всех — долговязый Шура, рядом — маленький и коренастый Шолом, за ними — незнакомые грузинские лица. Все приветствуют меня, все жмут мне руки.

Надзор суетится:

— Выходите на прогулку, там увидитесь, а то я двери закрою.

Чуть наискось от моей камеры — дверь на прогулочный двор. С шутками и смехом, как всегда, Шолом первый спускается со ступенек. Мы выходим во двор. Чуть отступив от дверей, мы снова останавливаемся, начинаем знакомиться. На нашей прогулке девять человек. Эсеры — Ховрин, Берг, Либеров, мы с Шурой; один социал-демократ, кажется, Комаров; один левый эсер, Брухимович; двое грузин: Дженория и Ихшиели; один из них — с.-д., второй — член Демократического центра, националист.

Шура просит, прежде всего, дать нам возможность побыть вдвоем, хотя бы минут пятнадцать. Ведь мы год не виделись со дня ареста — одни, без надзора.

Товарищи разбредаются по дорожкам дворика. Мы с Шурой обходим круг, другой... И у грузин терпения не хватает. В тюрьме так ждут свежих людей, с воли. Они завладевают мной. Я иду с ними, мы разговариваем, рассматриваем наш прогулочный двор. Они вводят меня в курс суздальской жизни, расспрашивают о жизни на воле.

Дворик наш чудесный. Он совсем не похож на голую площадку верхне-уральского дворика. Здесь кольцом вдоль тюремной стены идет дорожка. Везде деревья, кустарничек, трава. Сирень! Два куста сирени, жасмин и — какая прелесть! — мои любимые нарциссы! На каждом шагу открытия! Вдруг целая грядка клубники! А рядом — помидоры, огурцы!.. Боже мой, теннисная площадка!..

Пока я смотрю во все глаза, Ихшиели объясняет мне:

— На нашем дворике три прогулки. Наша, социалистическая, и две коммунистические. Коммунисты в камерах над нами, во втором этаже, в камерах идущих за нашими по коридору. За стеной — еще

прогулочный двор. На нем тоже три прогулки, одна коммунистическая и две социалистические.

Я удивлена количеством троцкистов.

— Троцкистские прогулки никаких связей с нами не держат, через них нельзя послать даже тюремную почту.

Я узнала, что в Суздале и Хеля Марецкая и Мара Ловут. Из крупных большевиков сидит здесь Иван Никитович Смирнов. Интересный сосед у Ховрина. Он не отвечает на стук, на прогулку выпускается один, строго изолирован от всех. Говорят это — Рютин, переведенный сюда из Ярославского изолятора.

Где-то в стороне от нашего корпуса стоит старый корпус. Он весь заполнен троцкистами. Связи у нас с ними нет, но иногда вечерами они перекрикиваются с троцкистами нашего корпуса. В старом корпусе сидит брат И. Н. Смирнова. У троцкистов преимущество в режиме. Они могут получать в месяц десять писем, мы — только три.

Нашу беседу прерывает крик с соседнего двора:

— Привет!

— Привет! — орет Шолом, проходящий как раз мимо стены, разделяющей дворы.

— Кого к вам привели?

— Шуру Федодеева! Катю Олицкую! — орет Шолом.

— Катя, Шура, привет!

— Привет! — отвечаем мы.

Надзиратель спокойно ходивший вдоль корпуса, ускоряет шаг, спешит к стене. Он опоздал. Шолом размахивается... через стену перелетает мешочек с почтой. К мешочку для веса привязан камешек. Товарищи кричат приветствия, они получили почту.

Грядки на нашем прогулочном дворике разделены на три части. Каждая треть принадлежит одной прогулке. Грядка с клубникой общая, ею никто не занимается. Я беру над ней шефство. Интересуюсь вызревают ли ягоды, вишни.

— Чуть розовеют, — говорят товарищи, — не хватает выдержки. Помидоры снимаем зелеными, делим между всеми и дозревают они в камерах на окнах.

На нашем дворе сидел один эсер-агроном, страшный любитель своего дела. Он выращивал во дворе и получал в камере какие-то тончайшие сорта табака, мастерил ситечки, вороночки, и из купленного в ларьке молока изготовлял необычайный сорт сыра. Им интересовался Мичурин. К нему с запросами приезжали Андреева, Катанян. Наш дворик при нем имел вид опытного участка. С его уходом, по окончании срока, все заглохло. Одичала клубника, заключенные продолжали выращивать только помидоры. В камере соседей стояло лимонное дерево, выращенное ими из косточки лимона. Летом товарищи выносили лимон во двор. Ему было пять лет. В конце концов, заключенные вынуждены были отдать лимон начальству тюрьмы, в камере лимону стало тесно.

В середине нашего двора стоял деревянный столик, врытый в землю. Около него — две скамьи. Вокруг него собирались товарищи. Мне хотелось к ним. Я боялась обидеть грузин, но время шло. Я извинилась перед ними и ушла к своим. Грузины разошлись, по одному зашагали они по кругу. Они сидели десятый год. Каждый мерил шагами взад-вперед, взад-вперед прогулочный двор десятый год.

У столика Шура рассказывал товарищам нашу неудавшуюся попытку работать на воле и наше след-

ствие. Мы отдавали себя на суд товарищей. Мы говорили об отрицательном отношении к нашей попытке товарищей в ссылках. Мы все-таки отстаивали свое мнение о необходимости при первой возможности переходить к делу. Шолом сразу и целиком стал на нашу сторону, он только вздыхал:

— Эх, Шура! связался бы ты со мной... Знал бы я... А то теперь, как олух, сиди ни за что, ни про что.

Старики колебались. Теперь, когда наша попытка окончилась неудачей, это было для нас уже много. Старики — Ховрин и Берг — были замечательными людьми. Очень разными.

Ховрин и Берг

Ховрин был интеллигент. Только в 1917 году, после революции, он вернулся с каторги. Он остался верен и прошлому своему и партии, но участия в революционной работе после 1917 года не принимал. Он весь ушел в научную работу. Еще будучи на каторге он полюбил север России, сроднился с ним. Все свое время он отдавал работе по освоению русского севера. До 1932 его не арестовывали. Он не воскуривал фимиам большевикам и не отрекался от своих политических взглядов, он вел научную работу, которую считал нужной и важной. Почему его арестовали теперь, в 1932 году, ему было неясно. Следствие не вменило ему никакого преступления, и все же полгода его продержали в Бутырках, а затем вынесли приговор — год заключения под стражей. И сам он посмеивался, и окружающие недоумевали, — что за «детский» срок? Было Ховрину пятьдесят восемь лет. Дома, в Москве, у него

осталась жена, о которой он очень беспокоился. Она слала ему посылки, приезжала на свидания. Ховрин был серьезно, неизлечимо болен. С царской каторги вывез он сердечную астму. Приступы болезни были очень тяжелыми. Ховрина поместили в одиночку под особое наблюдение врача. Врач разрешил ему держать в камере сильнодействующие лекарства. Никто не опасался, что Ховрин может покончить с собой.

Сидел он стойко, бодро. Из Москвы он выписал в камеру свои рукописи, необходимые книги, и в камере продолжал научную работу. Шесть месяцев провел он с нами. Всегда спокойный, ровный, заботливый к товарищам. Больной, нуждающийся в особом питании, он принципиально сидел на тюремном пайке. При получении посылки он выносил ее всю на тюремный двор, делил поровну между всеми. Врачи запретили ему курить, но он курил, и много. Правда, только какой-то особый трубочный табак, который присылали ему из дома. Вся наша прогулка знала и уважала его. Уважала его и тюремная администрация, хотя ни с одним вопросом он к ней не обращался. Во время обхода камер начальник тюрьмы заставал Ховрина всегда на ногах, но при входе его Ховрин не произносил ни слова. Как-то он долго не получал вестей от жены. Он беспокоился, не спал ночами, осунулся. Мы советовали ему обратиться с запросом к начальству. Но для себя Ховрин категорически отметал возможность обращаться к «ним», как он говорил, с чем бы то ни было. Как бы плохо ему ни было, он никогда не вызывал тюремного врача. Ховрин отбыл свой срок в Суздале. Мы все и он знали, что за изолятором последует ссылка. Мы все очень боялись за него, ему

предстоял общий этап. А что такое общий этап знали и мы, и он. Мы стали его уговаривать, упрашивать потребовать спецконвоя, отказаться идти общим этапом. Старик был неумолим.

— Пусть делают свое дело, я с ними ни о чем говорить не намерен.

Он ушел от нас, ушел на этап. Через полтора месяца мы узнали, что *Ховрин умер на этапе, не дойдя до места ссылки.*

Ефрем Соломонович Берг, — высокий, худой, суровый с виду, с огромными жилистыми кистями — был сыном еврея-кантониста. Вырос он в Петербурге. На работу пошел мальчиком. Ефрем Соломонович был резок и прям. Его сильный, чуть хрипловатый голос, его несгибаемо-строгие суждения изумительно сочетались с четкостью и бережностью в отношении людей. Проведший долгие годы в тюрьмах и ссылках, был он исключительно нежным, любящим семьянином и отцом. Когда он говорил о своей семье, о двух дочках, тогда уже взрослых девушках, складки на его лице расходились, и оно становилось мягким и добрым. В 1905 году Берг работал в подпольной организации эсеров на Путиловском заводе. Был арестован, в тюрьмах получил он и общее, и политическое образование. Знания его были глубоки и обширны. И только язык, склад речи выдавали его происхождение. Прекрасный оратор, сильным и выразительным голосом он говорил «лаболатория» и «колидор», и никак не мог отделаться от оборотов, к которым привык с детства. Он обычно не замечал своих ошибок, а если замечал, то очень сердился на себя. Несмотря на эти дефекты речи, именно ему было поручено произнести речь в 1918 году над могилой Плеханова. Ефрем Со-

ломонович был членом ЦК нашей партии. Считанные месяцы провел он на воле после Октябрьской революции. Тюрьма сменялась ссылкой, ссылка — тюрьмой. Ему уже шел седьмой десяток, а он был живой, жизнерадостный. Он недолюбливал социал-демократов. Очень резко относился к левым эсерам. Но в тюрьме он не признавал никакой тюремной политики, внутрикамерных склок, полемик. В тюрьме он любил играть в домино и в козла. Во время игры увлекался, сердился, и так заразительно смеялся, как никто другой. О теоретических вопросах сегодняшнего дня Берг не любил говорить. Он разрешал их в себе и только для себя. Нам с Шурой казалось, что Ефрем Соломонович остро чувствует свою ответственность, как бывший цекист, боится своего авторитета в партийных делах. Будучи давно и длительно оторван от жизни, он не решался принимать определенные решения. У Берга, как у огромного большинства, срок был три года. Мы проводили его из Суздаля в ссылку. Кажется, в Мерв. Много позже я узнала, что *Берг там умер*.

Либеров

Значительно моложе их был Либеров. Ему было 42-43. Для меня и он принадлежал к старому поколению эсеров, людей, пришедших в партию до революции. Энергичный, живой, верящий в себя и неудержимо ждущий приложить свои силы к жизни, Либеров тяжелее других переносил тюремное бездействие. Он очень любил поэзию, пытался писать сам, но мне его стихи казались надуманными, осложненными образами и метафорами. Стоял он на самом левом крыле нашей партии, но к левакам не

ушел. За многое осуждал он наших цекистов, многое ставил в вину партии. Он пересматривал, болезненно переживал пройденный путь. Часто во время прогулок я с интересом слушала его рассказы и выводы. Когда он говорил о прошлом, я слышала в его голосе и искренность и глубину.

— Наша партия первая заговорила о социализации земли. Это был ее основной лозунг, ее душа, ее конкретное отличие от всех других социалистических течений. И что же мы, рядовые работники, став у руководства земельными органами делали? Брали землю? Нет. Мы натягивали вожжи и до предела сдерживали народное движение. К нам являлись выдвинувшие нас крестьянские депутации: «Вы эсеры, осуществляйте вашу программу-минимум». А мы им должны были отвечать: «Ждать надо, братцы. Ситуация не та. Ситуация сложная». Упустили, не сумели, не оказались на высоте своих идеалов.

Либеров лично знал Фани Каплан, стрелявшую в Ленина. Он видел ее, когда она приехала с юга в Москву с решением совершить террористический акт. Либеров говорил мне, что партийное руководство не приняло ее предложения стрелять в Ленина, отклонило его. Либеров все же считал, что не было принято достаточно действенных мер, чтобы удержать Каплан. Каплан, по его словам, была энтузиасткой, чистой и устремленной натурой.

— Я никогда не стану большевиком, — говорил Либеров. — Я всегда останусь их горячим противником, но отказать им в том, что они знают, чего хотят, нельзя. Нельзя отнять у них кипучей деятельности, жизнеспособности и целеустремленности. Эх, — мечтал он, — уехать бы куда-нибудь на крайний север, на Новую Землю! Там жить и рабо-

тать. По крайней мере, дело бы какое-то делал, не коптил тюремные стены. Зря уходит жизнь, здоровье, силы, годы.

Шолом Брухимович

О Шоломе Брухимовиче мне трудно говорить. Если о других я знала, что говорю беспристрастно, то, говоря о Шоломе, я сознаю, что очень любила его.

Во время раскола партии Шолом ушел к «левакам». Он страстно обвинял партию, к которой принадлежала я, в совершенных с его точки зрения ошибках: и все-таки я его очень любила, как человека, именно как человека. Горячий, и смелый, Шолом не поддавался все заволакивающей повседневности тюремного режима. Он не очень задумывался над всякими программными тонкостями, не лез в теоретики и лидеры. Своей рабочей башкой он разбирался в сложной цепи практических вопросов, интересов рабочего люда. Выше всего для него была личность трудящегося человека. Споры он любил и в спорах был горяч. Правда, он больше любил говорить, чем слушать собеседника. В повседневной жизни не было товарища, заботливей и участливей его.

В революцию Шолом пошел еще совсем ребенком. Старшие братья Шолома принимали активное участие в революционном движении 1905 года. Шолому было тогда лет 10. Маленький еврейский мальчик помогал братьям, передавал записки, переносил листовки. Последние он запихивал в свои штанишки, становясь круглым, как пузырь. Штанишки обвисали под бумажным грузом. Раз он чуть не потерял и их, и листовки.

В 1905 году его братья были казнены. Как-то уже после их смерти, когда готовилась общая забастовка завода, мальчик услышал, что один из цехов завода бастовать не хочет. Он пошел снимать рабочих с работы. Залез на стол, иначе его вовсе не было бы видно, и произнес речь. Он говорил о чувстве товарищества, о единстве, о солидарности, о своих старших братьях, казненных за рабочее дело. К концу речи он заплакал. Слезами ли... но мальчик добился цели: цех забастовал.

После первого ареста, а 1918 году, Шолом бежал с этапа, засыпав махоркой глаза конвоира.

На нашем прогулочном дворе Шолом держал связь с другими прогулками. Держать такую связь мы могли, только перебрасывая почту на соседний прогулочный двор. Над нами и рядом с нами сидели троцкисты. Они отказывались поддерживать нашу связь.



Около недели просидели мы с Шурой в разных камерах. Потом его перевели ко мне. Как в Верхне-Уральске, мы были вместе. Жили книгами, занятиями и газетными сообщениями. Они не веселили. Рос и креп фашизм. Франко. Гитлер.

Колосовы

Осенью, наверное, в августе, товарищи сообщили, что к нам на прогулку привели Колосова с женой. Еще по дороге в Суздаль, когда я сказала Шуре, что Колосовы арестованы, Шура размечтался о встрече с Евгением Евгеньевичем. Колосов считался одним из крупнейших наших литераторов. Он работал по

истории народовольческого движения. Был учеником Н. К. Михайловского. После 1905 года он жил в эмиграции в Италии. Туда он вывез весь архив Михайловского. Колосовым была выпущена большая работа о Михайловском.

Колосову было лет 55-56. Жене его 52. Оба они были глубоко возмущены своим арестом и возбуждены. Жили они в Москве совершенно легально. Ни с каким подпольем связаны не были. Он написал много работ, выпущенных Госиздатом: большую книгу о Шлиссельбурге под названием «Государева тюрьма», прекрасную книгу «Жуковский», содержащую описание жизни Жуковского в Шлиссельбурге и написанный им и найденный Колосовым роман, а также письма Жуковского своей невесте, книгу «Сибирь при Колчаке». Последняя работа Колосова, изданная за несколько месяцев до ареста, — «Народовольческая журналистика», — продолжала волновать его. При издании книге была предпослана статья Веры Фигнер. Последняя придерживалась по народовольческим вопросам иных взглядов, чем Евгений Евгеньевич, и он готовил новую работу с возражениями Фигнер. Эта его работа была сорвана арестом.

Шура спросил Колосова о его работе над архивом Михайловского. Мы сразу почувствовали, что задели его любимейшую тему. Евгений Евгеньевич рассказывал о своем знакомстве с Михайловским, о его привычках, костюме, манере речи. Колосов мог говорить о Михайловском часами. Возвращаясь в 1917 году из Италии на родину, Колосов не знал, какие судьбы ждут революцию, и весь архив Михайловского оставил на хранение у своих итальянских друзей. Узнав об архиве, большевики захотели

получить его. Итальянцы отказались выдать архив без соответствующих указаний Евгения Евгеньевича. В Суздальский политизолятор к Колосову приезжали Андреева и Катанян. Они просили его передать архив. Евгений Евгеньевич заявил, что если они пустят его в Италию, он будет разрабатывать архив и печатать его, но большевикам, идейным противникам Михайловского, архива он не доверит.

Колосова получила срок два года. Колосов — три. Они рассказали нам о массовых арестах в стране, о повальных арестах среди бывших народовольцев и членов Общества бывших политических ссыльных и каторжан.

Убийство Кирова. Волна арестов

Что шли большие аресты, тюрьма чувствовала: поступали все новые заключенные. Как-то вечером постучал нам в стену Шолом. Обычно мы не перестукивались. Зачем? Увидимся на прогулке. Очевидно, что-то срочное. Шолом сообщил, что к ним в камеру привели Алексея Алексеевича Иванова.

Иванов входил в правительство, организованное группой правых эсеров в Архангельске (оккупированном тогда английскими войсками) вне связи с партией, независимо от нее. Позиции, занятые архангельским правительством, были осуждены партией. Все последние годы Иванов жил в Ленинграде. Работал, политикой не занимался. После пятнадцати лет мирной жизни, в 1932 году, его арестовали. За шесть месяцев под следствием его один или два раза привели на допрос и постановлением ОСО заключили в Суздальский политизолятор. Никакого состава преступления ему вменено не было. На все свои

запросы о причинах ареста он получал объяснение, что сидит он не за какие-либо совершенные им преступления, а в связи с «политической ситуацией».

Настроение всех, встречаемых нами на прогулке было тяжелое. Люди устали от тюрьмы. Может быть, все усугублялось голодом. Голод был и на воле. В изоляторе нас кормили одной кислой капустой, и та была тухлой. Летом на смену ей приходила пареная крапива. Мы молчали, мы знали, что голодает вся страна.

Камера, в которой жили мы с Шурой была сырая и темная. Состояние моего здоровья резко ухудшилось, и тюремный врач решил направить меня в Москву, в Бутырскую больницу. Мне очень тяжело было отрываться от тюремного коллектива, но пришлось ехать.

В Бутырках меня посадили в строго изолированную камеру. Мне прописали электрический душ, ванны, давали какие-то лекарства. И, самое главное, изумительно кормили. Я получала масло, молоко, яйца, компоты, кисели, мясные блюда, ужины. Диагноз врачей был — нервное истощение на почве малокровия. Трудно лечить нервное истощение в тюремной одиночной камере. Книги у меня были, в остальном я была отрезана от всего мира. Недели две прожила без всякой вести о воле, без связи с кем-либо. И вдруг в маленькой уборной, в которую меня водили на оправку, я прочла над краном на известью выбеленной стене нацарапанные слова: «Катя, привет!» Быстро затерла я буквы и нацарапала: «Кто вы?»

Наверное, надзиратели больницы отвыкли от связи между заключенными, которую надо было ловить. Впрочем, на том же месте, я прочла: «Возьмите шарик, поставьте крестик». На полу в углу,

вжатый в стену, лежал хлебный шарик. Я схватила его. У крана умывальника на стене я поставила крест. В камере я раскрошила шарик. В нем была записочка. «Я — Селивестров. Вывезли из Суздаля вчера. В Ленинграде 1 декабря убит Киров. Как здоровье? Завтра там же».

В голове у меня все помутилось. Кем убит Киров? Как убит? Почему Селивестрова привезли в Москву? Почему на больничное крыло? Что произошло в Суздале?

Утром я оставила записочку в уборной в хлебном шарике. Мой шарик пролежал весь день, ночь и следующий день. Селивестрова, очевидно, куда-то перевели. Вопрос о том, что произошло на воле, мучил меня. В тревоге ждала я конца лечения. Я умоляла врачей выписать меня из больницы. Температура за месяц несколько снизилась. Как из тюрьмы на волю, рвалась я из Бутырок в Суздаль. Там газеты, там товарищи, там жизнь... казалось мне. И наконец меня перевезли!

В Суздале я сразу засыпала Шуру вопросами. Ничего не зная, я связала в одно вызов Селивестрова в Москву и убийство Кирова. Шура сперва ничего не мог понять из моих вопросов. 5 декабря анархист Селивестров был вызван из Суздаля на лечение, никакой связи с событиями 1 декабря и в помине не было. Об убийстве Кирова товарищи узнали из газеты. Первое газетное сообщение смутило их. Как и я, ставили они вопрос, почему Кирова? И кто совершил покушение? Террор признавали и прибегали к нему в царское время эсеры. В период советской власти партия эс-эр признала террор недопустимым. О том, что выстрел могли произвести и коммунисты, никому не приходило в голову. Марксисты всегда были противниками террористических актов. В сле-

дующем номере газеты уже были подробные сообщения. Киров был убит выстрелом в затылок. Ни один эсер не выстрелит в спину противника из-за угла. Товарищи успокоились. Почему убит именно Киров, мы не знали, но в наших глазах выстрел был знаком борьбы в рядах коммунистической партии. Для нас неприемлемы были позиции всех течений компартии. Все они говорили о диктатуре, о монопартийной системе, душили всякое инакомыслие. Социалистическое движение было ими сообща раздавлено, разгромлено. Теперь начались столкновения, борьба за власть в их рядах.

Мы жили газетными сообщениями. Мы чувствовали, что назревают какие-то события. Понять их из-за тюремной решетки мы не могли. В соцсектор новых арестантов не поступало. Все социалисты давно уже были загнаны в тюрьмы и ссылки. В комсектор беспрерывно привозили новых заключенных. Мы знали об этом по их крикам в окна.

В начале 1936 года на нашу прогулку выпустили трех новых заключенных. Сиониста-социалиста с Соловков, грузинского социал-демократа с Колымы и социал-демократку Попову из Ленинграда. Впервые подробно узнали мы о режиме новых лагерей. Впервые увидели специфические лагерные костюмы — ватные штаны, телогрейку, бушлат. Сиониста перевели с Соловков по хлопотам родных. Социал-демократ голодал за перевод с Колымы три недели. Тасю Попову я знала по Соловкам она была в числе тех трех студенток, которых мы застали в кремлевской пересылке. Тогда ей было девятнадцать лет. Тогда она не принадлежала ни к какой политической партии. Большевики сами определили ее дальнейший путь. В 1924 году Тасю арестовали на каком-то студенческом собрании. Три года просидела

она на Кондострове в группе беспартийных студентов. И ее послали в ссылку еще на три года. Ссыльная среда определила Тасино мировоззрение. Она полюбила социал-демократа Массовера вышла за него замуж, у них родился сын. После ссылки, по хлопотам родителей, она вернулась в Ленинград. Оба устроились на работу. Сынишка рос. Никакой нелегальной работы они не вели. Они встречались с тесным кругом знакомых, в своей среде вели беседы, обсуждали, конечно, общественные и политические события. После убийства Кирова в Ленинграде начались массовые аресты. Арестовали и Тасю с мужем, как арестовали всех, бывших ранее под судом. Все, арестованные по одному делу с Тасей, пошли в ссылку. Тася получила три года политизолятора.

Тасино дело взволновало меня тем, что всколыхнуло прошлое. Предал Тасю и оговорил Вова Коневский. На следствии при очной ставке Тася установила это точно. Может быть, ее не послали в ссылку именно потому, что не хотели, чтобы она сообщила товарищам, кто предал и оговорил их. Я вспомнила мои споры с Примаком, мои упреки ему в жестокости и черствости.

Больше всего Тася убивалась о крошке-сыне, оставшемся со старушкой-матерью в Ленинграде. Тася рассказывала о переполненных тюрьмах, о перегруженных этапных вагонах.

Женитьба брата Димы

В январе 1936 года у меня была радость. Я не получала посылок ни от кого, и вдруг в форточку двери мне передали посылку из Архангельска. Незна-

комой рукой был написан адрес отправителя «Д. Л. Олицкий». О Диме я не знала больше четырех лет. В 1931 году он был арестован и послан в лагеря на Урал. Значит, он закончил свой пятилетний срок и теперь в ссылке в Архангельске... С нетерпением разбирала я посылку. (Она, конечно, была вскрыта и проверена надзором.) Содержимое посылки удивило меня, даже ошеломило. Продукты, — это понятно. Но вышитые салфеточки, розовенький маленький цветочек из тонкой резины, нитки-мулинэ, флакончик духов... Посылку собирал не Дима! Я нашла три носовых платочка. Метки гладью — на одном «Е. О.», на втором — «Д. О.», на третьем «Н. О.». Я запрыгала от радости. Димка женился! Мои догадки подтвердились в день выдачи писем. Дима писал мне, что он в Архангельске с Надей. Надя работает в краеведческом музее, он — по озеленению Архангельска. Оба счастливы, оба меня це-, луют и ждут письма.

Что за Надя? Откуда взялась Надя? Дима писал коротко, сжато, чтоб письмо не было задержано цензурой. Из позднейших писем от брата я узнала, что с Надей он встретился в Ярославле. Но почему он очутился в Ярославле, оставалось неясным. Главное же — я знала теперь, что Дима жив, здоров — и не один.

Антагонизм между социалистами и коммунистами

Тюремная жизнь шла своей обычной колеей. По газетам старались мы уловить скрываемое за официальной трактовкой события. Особенно остро волновали события в Испании. Многие товарищи рва-

лись туда, где шла борьба с фашизмом. Кое-кто из заключенных в наивной вере подал заявление отпустить их в Испанию, в ряды добровольцев. Они давали честное слово вернуться потом в СССР в тюрьму для отсиживания положенного срока.

Шолом рвал и метал:

— Держать нас здесь, не дать бросить нам свои силы в борьбе за рабочий класс!

Нам с Шурой подобные заявления казались наивными. Мы не понимали происходившего на воле. Не понимали ситуации, за которую посадили Колосова, Ховрина, Иванова и др. Волновал нас обсуждавшийся в те годы вопрос о единстве рабочего, коммунистического и социалистического движения во Франции. Как могли вести подобные переговоры французские социалисты с коммунистами, зная, что русских социалистов держат в тюрьмах? Непонятна была позиция Ромэна Роллана и Горького.

Соцсектор в политизоляторе сокращался. Люди заканчивали сроки и уходили в ссылки, новых заключенных не поступало. Коммунистический сектор беспрерывно увеличивался. Социалистических прогулок стало две, коммунистических — четыре. Связи между нами по-прежнему не было. Коммунисты подчеркивали свое отношение к нам, как к контрреволюционерам, мы видели в них сторонников деспотии. Возмущало нас и поведение их в тюрьме. Тактика наша по отношению к администрации была совершенно различной. Мы знали, например, что объявляя голодовку, они прячут сахар, чтобы поддержать свои силы. Они легко приступали к голодовкам и так же легко снимали их, не добившись ничего, компрометируя тем сам метод борьбы голодовкой. Мы знали, что многие из них писали по-

каянные письма: отказывались от фракционной борьбы, клеймили свое прошлое...

А затем, будучи освобождены, снова вели фракционную работу. Они осуществляли лозунг — в борьбе все средства хороши и цель оправдывает средства. Мы были сторонниками этического социализма. Мы понимали, что революция не делается в белых перчатках, но построение социалистического общества не мыслили себе путем насилия, угнетения, подавления. Движение к цели, к социализму должно осуществляться путями, воспитывающими борцов за социализм.

В газетах стали появляться статьи и речи о новой Сталинской конституции, самой демократической конституции в мире. Опороченная ранее большевиками на выборах в Учредительное собрание «четыреххвостка» (прямое, всеобщее, тайное, равное голосование) поднималась на щит. Мы не верили, мы недоумевали — в чем тайна очередного трюка? Мы знали, что допустить свободное волеизъявление большинства коммунисты не могут. В нем — их гибель. Не подготовкой ли к новым выборам по новой конституции являются бесчисленные аресты, бешеная травля троцкистов? Все проклятия, все клеймящие эпитеты газетных столбцов были теперь направлены на них. О нас газеты почти не упоминали. Первый грозный удар над страной, нанесенный партией, нами был познан так:

Мы услышали крики из коммунистических камер, они сообщали в старый корпус, И. Н. Смирнова вывозят в Москву. Оппозиционеры Суздаля были очень взволнованы делом Кирова. Убийство приписывалось некоему оппозиционеру Николаеву, будто бы мстившему за расправу со своими товарищами. По

разговорам через окна мы знали о их возмущении такой интерпретацией, о каком-то не то поданном, не то долженствующим быть поданным заявлении. Возглавлял все их позиции Смирнов. Вызов Смирнова они связали с делом об убийстве Кирова. Через несколько дней после вызова Смирнова пошел по изолятору слух, что Смирнов в Москве объявил голодовку. Затем стало точно известно, что, проголодав четыре дня, он снял голодовку. Начальник тюрьмы вручил его жене письмо от него с просьбой переслать ему через начальника его вещи и рукописи. Потом в газетах появились сообщения о преступлениях, совершенных троцкистами, и готовящемся большом процессе над ними. В числе привлеченных к делу оказался и И. Н. Смирнов.

Грозно звучали речи на суде. Грозно клеймили врагов народа. Подсудимых обвиняли: во вредительстве, в заговоре, в связи с иностранной разведкой. Прокурор требовал смертного приговора. Смертного приговора требовали резолюции с собраний рабочих и служащих.

Тяжело было читать эти газеты. Ошеломило нас и признание подсудимыми своей вины.

Судя по газетам И. Н. Смирнов, как и другие, признавал себя виновным во всех возводимых на него обвинениях. Как могло это случиться? Мы часто слышали его разговоры в окна с заключенными, знали о его взглядах и установках последних дней.

В день получения номера газеты о приговоре и приведении его в исполнение начальник изолятора вызвал жену Смирнова к себе. Он молча подал ей газету. Строки об отказе в помиловании и об исполнении приговора были подчеркнуты красным карандашом. Мария лишилась сознания. К ней был выз-

ван тюремный врач. Затем она была водворена в их бывшую камеру. Номер газеты ей оставили на столе. В коридоре к дверям камеры приставили часового, ни на шаг не отходившего от волчка, все время открытого.

Мы в это время по своим камерам читали приговор суда. Все выступавшие на суде подсудимые признавали себя виновными. Каялись, превозносили генеральную линию партии, топили себя в море грязи. Если бы нашелся среди обвиняемых хоть один человек, отвергший обвинение, отстаивавший свои убеждения! Может быть, мы заколебались бы, может быть, мы кое-чему в обвинениях и поверили. Почему не нашлось среди обвиняемых человека, который решился бы умереть с гордо поднятой головой, как шли когда-то на казни революционеры? Почему подсудимые находили в себе мужество годами сидеть в тюрьмах, не раскаиваясь в своих преступлениях, и только процесс убедил их? Почему шли они на казнь, оклеветав себя, своих товарищей и свое дело? Или на открытый процесс вывели тех, кого удалось сломить в процессе следствия? Какими же средствами сломили волю таких старых, испытанных членов партии? Пытками? Угрозой казни? Обещаниями даровать жизнь?

Кто-то заговорил о гипнозе. Кто-то о гриме, о подставных лицах. Мы терялись в догадках, но твердо знали одно — было не так, как изображено.

Страна готовилась к принятию самой демократической конституции в мире, к самым демократическим выборам — и уставлялась эшафотами. Шли новые разоблачения, намечались новые процессы. Из газет мы узнали о самоубийстве Томского. На про-

гулках оппозиционеров царила мертвая тишина. Мы ничего не понимали.

*

В конце 1936 года я получила отчаянную открытку от Димы. Из нее мы поняли, что арестована его жена, что в ссылке идут массовые аресты.

«Жизнь кончена. Впереди нет просвета», — писал Дима.

Я ответила, просила писать еще. Писем от него больше не приходило.

Жизнь шла, как обычно. Мы готовились к Новому Году. В самых последних числах декабря на нашем прогулочном дворе начались какие-то странные земляные работы. Когда мы выходили на прогулку, мы видели раскопанные площадки, вырытые ямы. 31 декабря срубили несколько деревьев. Мы решили в очередной обход начальника поставить вопрос — зачем рубят деревья? Нам было жаль яблонек и вишен.

На прогулке 1 января мы поздравляли друг друга, старались заглянуть в будущее. Что несет нам новый год? В 1937, в апреле, мы с Шурой должны были окончить пятилетний срок заключения. Можно было уже мечтать о будущем.

И снова этап

Вечером, когда все прогулки были окончены, в дверь нашей камеры вошел дежурный:

— Олицкая, срочно собирайтесь с вещами.

Мы с Шурой опешили, а он продолжал:

— Сдайте все тюремные вещи, получите белье из

стирки. Если у вас есть деньги на квитанции, сдайте ее дежурному по коридору.

Круто повернувшись на каблуках, старший вышел. Мы остались стоять. Мы понимали, что меня берут на этап. Ничего еще не сообразив, мы услышали крик Таси Поповой:

— Товарищи, меня берут с вещами из тюрьмы!

Шура тоже крикнула:

— Катю берут с вещами из тюрьмы! Мы слышали, как крик наш покатился от окна к окну. И новый крик... Теперь уже по прогулкам оппозиционеров:

— Смирнову берут с вещами!

Больше женщин в изоляторе не было. И сообщение по окнам шло уже в новой формулировке: «Женщин берут с вещами. Женщин вывозят из тюрьмы!»

Тюрьма замолкла. Очевидно, по камерам пошло обсуждение.

Мне надо было срочно собирать вещи. Пришел надзиратель за миской, библиотекарь за книгами. Так вот сразу расстаться... Шолом кричал и вызывал нас с Шурой к окну. Милый, наивный Шолом! Он думал, что женщин выпускают на волю. Ведь подготовляется самая демократическая в мире конституция...

Мы с Шурой не разговариваем — перебрасываемся короткими фразами. Через три месяца конец сроку. Так и так увидимся в ссылке.

— Катя, может быть, ты на волю. Оставь мне часы.

— Конечно. Но не верится мне в волю.

— И мне не верится. Последнее, Катя, если придется голодать, то только по принципиальным вопросам — и ты, и я. Даешь слово?

Дверь открывается. На пороге надзиратель, старший. Мы с Шурой последний раз обнимаем друг друга. Я выхожу в коридор. Дверь за мной запирается. Шура в камере остается один.

Ни встречи, ни весточки... Прощание навсегда. Не думали мы, не ожидали, не предполагали ни тогда, ни годы спустя. По крайней мере, я. А Шура?

Я шла коридором, следом за мной — конвоир.

— До свидания, товарищи! — кричала я у каждой двери.

— До свидания! — неслось мне из-за дверей.

У дверей камеры Шолома я приостановилась:

— Шолом, до свидания!

— До свидания, Катя, на воле!

Корпус был позади. Товарищи — позади. На ходу я думаю о Шуре. Уходящему всегда легче. Я буду сейчас что-то узнавать, куда-то двигаться. Он ходит один по замкнутой камере.

12. 1937 ГОД

Познавание ожидавшего меня началось с первых же шагов. В камере административного корпуса, куда меня завели, появилась женщина для обыска. Мой чемодан перерыли она и надзиратель вместе. Надзиратель унес его. Женщина приступила ко мне. Много, очень много раз подвергалась я личному обыску. Такого гнусного и отвратительного я еще не переживала. Очевидно, бабенка прошла особую школу. Мне было приказано раздеться догола, руками ощупала она каждую впадину на моем теле. Раздвигала пальцы рук и ног. Заглядывала в рот и ощупывала уши.

— Поднимите руки, заложите их за голову, расставьте ноги, нагнитесь.

Кого унижала она? Меня? или себя? Кто разработал такие изысканные приемы обыска?

Женщина отобрала у меня все шпильки, булавки, срезала все пуговицы с одежды, все крючки, застежки от пояса для чулок. Потом она предложила мне одеться.

— Одеться?! — я удивилась. — Это невозможно. Я не вешалка, на которую можно все навесить.

— Об этом говорите с начальством, — гордо бросила мне женщина и, полная сознанием исполненного долга, собрав в горсть все изъятые у меня застежки, вышла из камеры.

Недоуменно стояла я над своей одеждой. Рубашку я могла надеть. Но штанишки? — из них была вы-

нута резинка. Чулкам не на чем было держаться. Из ботинок были выдернуты шнурки. Набросив рубашку и платье, я уселась рядом со своими монатками, поджав ноги.

— Вы готовы? — спросил надзиратель, заглядывая в волчок.

— Нет, — ответила я, — и не буду готова. Меня лишили возможности одеться. У меня отобрали все застежки.

Через несколько минут в камеру вошел старший.

— Почему вы не одеваетесь? Металлических предметов и длинных шнурков заключенным иметь не разрешается.

— Давайте одежду такого покроя, чтоб держалась без завязок и застежек.

Старший помолчал и вышел. Я сидела над своим тряпьем и думала. Милый-милый наивный Шолом! «Женщин выпускают на волю!»...

Минут через двадцать вернулся старший. В руках у него были только что срезанные с моего белья застежки.

— Пока тюрьма не имеет женского белья, можете пользоваться.

— Дайте иголку и нитки.

— Дежурный даст.

Получив от дежурного иголку и нитки, я принялась за шитье. К очередной кампании тюрьма, очевидно, не подготовилась. Мы были первыми, к которым применялся новый режим.

Едва я успела одеться, в камеру привели Тасю. Ее подвергли такому же обыску, как и меня. Мы очень обрадовались друг другу: по крайней мере, вдвоем.

— Вы понимаете что-нибудь? — спросила я.

Тася отрицательно покачала головой. Такая всегда бодрая, она хмурилась.

Дверь камеры снова открылась, вошла женщина и остановилась у порога. Вид ее говорил о том, что она перенесла нечто ужасное. Была она бледна, руки ее дрожали, она еле держалась на ногах. Мы догадались, кто она. Но, чтобы не ошибиться, Тася спросила:

— Вы — оппозиционерка?

— Я — жена Ивана Никитича Смирнова, — сказала она, закрыла лицо руками и заплакала.

Что мы могли сказать ей? И все же я сказала:

— Пройдите, сядьте.

А Тася добавила:

— Не надо так.

Мария подошла к нам:

— Меня везут на казнь, — сказала она дрожащим голосом.

У нас с Тасей перехватило дыхание.

— Вам объявили что-нибудь?

— Нет. Мне просто велели собраться с вещами. Но я знаю, они убили его, теперь убьют меня. Ведь я — живой свидетель его жизни.

И я и Тася стремились успокоить Марию.

— Почему же взяли из изолятора и нас, зачем вас свели с нами? Единственное, что мы теперь знаем, это то, что женщин изолировали от мужчин. Что будет дальше, увидим...

Нам принесли ужин. Сообщили, что ночевать мы будем здесь, в этой камере. Может быть, это была самая страшная ночь в моей жизни. Мария была на грани безумия: то ей мерещилась казнь Смирнова, то саму ее вели на казнь. Два раза в своей камере она пыталась покончить с собой. Ей помешали. Те-

перь она говорила, что должна выжить, чтобы засвидетельствовать, что все показания Смирнова на суде — ложь, что она знает его жизнь, его мысли до самых последних дней. Мария сидела всю ночь, не отрывая глаз от волчка, уверяя, что ее могут застрелить через волчок в затылок.

Тася тоже была угрюма:

— Неужели нас везут на следствие? Неужели они строят какой-нибудь новый процесс социалистов? Я никогда не боялась следствия, а теперь боюсь. Мне жаль Марию. Но вы присмотритесь, только безвыходное положение толкает ее к нам. Даже теперь она боится, что ей припишут связь с нами.

Тася была права. Мария как-то подчеркивала свою отдельность от нас. Отчаяние бросало ее к нам, но она тут же говорила:

— Я не хочу, чтоб надзор видел, что я общаюсь с вами.

В ее обращении к надзору было что-то приниженное, заискивающее.

В Ярославский централ

Не смыкая глаз, провели мы эту ночь. Подняли нас рано. На улице было еще темно, когда нас вывели из тюрьмы и посадили в «черный ворон». Двое конвоиров сели с нами в клетку, остальные поместились позади.

Когда машина остановилась и двери открыли, нам пришлось переступить всего несколько шагов — дверь вагона была открыта. От дверей «ворона» до дверей вагона в два ряда стоял конвой с ружьями в руках. Сквозь строй прошли мы в вагон.

— Какой ужас! — шептала Мария. — Вы видите, они глаз с меня не сводят.

Это действительно было так. Мы обе заметили, что один из надзирателей неотступно следовал за Марией.

Нас с Тасей завели в одну клетку вагона, Марию — в другую. Больше заключенных в вагоне не было. Конвой разместился в коридоре. В тишине вагона мы с Тасей слышали ворчание конвоиров: «Третьи сутки бессменно возим и возим...»

В Суздале на этап нам выдали сухой паек, буханку черного хлеба и какую-то соленую, вонючую рыбу. Такой отвратительной рыбы мы еще не видели. Грязи на ней было больше, чем соли. Хлеб мы взяли с собой, рыбу бросили в камере. Теперь мы о ней жалели, нам хотелось есть.

Куда нас везут, мы не знали. В вагоне мы пробыли несколько часов. К вечеру того же дня нас высадили из вагона, стоявшего в тупике, и пересадили в огромный крытый грузовик. Машину открыли в тюремном дворе. Вокруг двора были высокие каменные стены, впереди большой, очень большой корпус тюрьмы. Машина ушла. Окруженные конвоем, мы трое остались стоять во дворе.

Первой вызвали меня. Простясь с Тасей и кивнув Марии, я пошла в тюрьму. Миновав ряд коридоров и переходов, я попала в маленькую одиночную камеру, во всем сохранившуюся с царских времен. Привинченный к стене табурет, привинченная к стене койка. Новым был щит над высоко расположенным под потолком окном. Щит напоминал о внутренней тюрьме, но был он не металлический, а свежесколоченный из только что обструганных желтых досок. В камере я нашла свой чемодан.

— Ваши вещи? — спросил надзиратель.

— Мои, — ответила я.

— Это все, что у вас было? Проверьте.

Я порылась в чемодане.

— Все.

— Возьмите, — сказал старший надзиратель. Тот взял чемодан, и они ушли.

Я опустила доску привинченного к стене сидения и села. Мне хотелось сосредоточиться, понять, что происходит со мной. Осторожный, едва уловимый стук в стену, прервал мои мысли. Стучала Тася. Ее перевели в соседнюю камеру. Тася сообщала, что рядом с ней посадили Марию. Наше перестукивание прервало щелканье форточки. Просунулась голова дежурного:

— Собирайтесь в баню.

— Как я могу собраться, если вы забрали все вещи?

Форточка захлопнулась. Я слышала, как открылась она в дверях Таси и в дверях Марии. Через несколько минут распахнулась дверь моей камеры:

— Получите ваши вещи, — надзиратель внес чемодан. — Соберитесь в баню.

Боже! Что за чехарда с нами и нашими вещами? Я быстро вынула белье, мочалку, полотенце. Приятный сюрприз: в баню нас повели всех троих вместе. Баня была хорошая, большая, вместительная.

Когда мы остались одни, Мария прошептала:

— Мы в Ярославском централе.

В прежние годы Ярославская тюрьма слыла в нашей среде за штрафную. Режим в ней был суровее, заключенные строже изолированы друг от друга. Мы слышали, что год назад социалисты-заключенные добились для себя политрежима. Мы с Тасей

осмотрели все стены, скамьи бани и предбанника, нашли много записей, но знакомых фамилий не встретили. Из бани нас развели по одиночкам. Очевидно, у нас будет и общая прогулка. Во всяком случае, мы можем общаться через стену.

Как мы и предполагали, на вечернюю оправку нас вывели всех вместе. Наша уборная, как и камеры, была расположена в нижнем этаже. Над нами, из уборной второго этажа, мы услышали громкую мужскую речь. Нарочно нагнувшись над спусковой трубой, мы с Тасей заговорили громче. И сейчас же:

— Женщины, кто вы? — ясно прозвучало сверху.

— Социалистки из Суздаля! — крикнула Тася. — А вы?

— Я социал-демократ, Зелигер.

— Коля, здравствуй! Я — Тася Попова, со мной Катя Олицкая.

— Сколько вас?

— Нас трое.

— Кто третья?

— Ради Бога, не называйте меня! — прошептала Мария.

Мы с Тасей переглянулись.

— Не наша. Оппозиционерка, — сказала Тася.

— Почему вас перевели?

— Ничего сами не понимаем. У вас какие-нибудь новости есть?

— Нет. Живем обычно.

— Так будут, — сказала Тася.

Я спросила, кто из наших товарищей сидит в изоляторе. Коля назвал ряд фамилий и добавил:

— Здесь много оппозиционеров, они интересуются, кто с вами.

Мария, явно прислушиваясь к называемым фамилиям, отрицательно покачала головой.

— Она не хочет себя назвать, — передали мы в трубу.

— Пока прощайте, — сказал Коля. — Подумаем о связи с вами. Может быть, вас переведут к нам на прогулку.

Мы услышали звук открываемой наверху двери, шарканье ног по коридору и четкий крик, разнесшийся по всему трехярусному пролету тюрьмы: «К нам привезли трех женщин из Суздаля!»

У старожилов Ярославской тюрьмы были неплохо налажены связи. За вечер и ночь Коля успел что-то предпринять. Раненько утром мы услышали крик за окном:

— Тася! Тася!

Тася откликнулась в форточку. Я напряженно слушала, стоя под окном в своей одиночке.

— Вы знаете немецкий? — спрашивал мужской голос, и сразу же по-немецки: — Ищите в уборной под умывальником. Поняли?

— Гут! — крикнули мы вместе с Тасей.

К нашим дверям несся надзиратель:

— Прекратите крик!

Но крик уже прекратился. Мы нетерпеливо ждали оправки. В уборную нас снова выпустили всех троих. Тася сейчас же бросилась к умывальнику. Я стала у дверей на страже. Тася долго искала, но ничего не находила. Мы открыли кран, чтобы звук воды свидетельствовал о том, что мы умываемся. Мария требовала, чтобы мы не искали, за нами могут следить. Я молчала. Тася шарила рукой. При одном из движений она зацепилась за какую-то ниточку. На пол упала тонкая, туго свернутая бумаж-

ная трубочка. В ту же минуту лязгнул ключ, и дверь отворилась. Тася выскочила в отделение со стульчаками, я наступила на надзирателя:

— Мы еще не умылись, мы не стучали. Зачем вы открываете?

— Время истекло, поторапливайтесь, — сказал надзиратель и запер дверь.

Мария стояла и тряслась от страха. Тася вышла к нам бледная.

— Я выбросила записку в трубу, — сказала она.

Мне показалось, что меня лишили чего-то радостного, чего-то светлого. Молча, торопливо мы вылили параши, умылись и разошлись по камерам. И вдруг я слышу Тася стучит в форточку: «Зер гут!» Я недоумеваю. А Тася уже стучит мне в стенку: «Все хорошо. Все. До прогулки».

Я все-таки ничего не поняла. Скорей бы гулять. После утреннего чая нас троих вывели на прогулку во двор. Двор был большой, куда больше нашего суздальского, но голый. Вокруг двора асфальтовая дорожка. Середина, как и у нас в Суздале в последние дни, изрыта ямами. Кое-где вкопаны новые высокие деревянные столбы. Привлекло наше внимание, что и часть окон забрана щитами. Щиты все новенькие. Мы слышали раньше еще в камерах стук работ. Очевидно, это готовили щиты. Мария шла рядом с нами.

— Строят виселицы, — говорила она. — В камере щит, как крышка гроба.

Нечутко, нехорошо, но нам с Тасей надо было уединиться. Мы повернули и пошли по кругу в обратном направлении.

— Я записку не выбросила, — сказала Тася. — Я не хотела, чтоб Мария знала. Катюша, ни Коля, ни

другие ничего не подозревают. Живут, как мы жили. Коля пишет, что у них политизоляторский режим, что добились они его год назад, что в обход начальника они будут говорить о присоединении нашей прогулки к ним.

Усиление режима

Нас вывезли из Суздальского изолятора. Нас подвергли дикому обыску. У нас то отбирали, то возвращали личные вещи. Окна наших камер были забиты щитами. Мы понимали, что это неспроста. Очевидно, круто завинчивается режим. Мы просто попали первыми. Как дать знать товарищам? Как предупредить их?

Вернувшись в камеру, мы стали проверять режим. Мы вызвали старшего и стали требовать газету, приема от нас писем, книги из библиотеки. Ответы были сбивчивые и неясные. После нашей ссылки на правила внутреннего распорядка, висевшие в камере, дежурный снял их и унес.

Неопределенное, переходное состояние длилось недолго. Мы даже не успели ответить Коле на его записку. Вечером, после проверки, когда тюрьма обычно погружалась в тишину, в коридоре началось движение. Защелкали форточки камер, затем стали отпираться двери. Мы с Тасей прислушивались, изредка перестукивались через стену. Потом по коридору разнеслись крики: «Зелигер в одиннадцатой!» «Н. в шестнадцатой!» Мы поняли, зэков разводили по одиночкам. Они кричали, в какую камеру, кого завели. «Началось, — постучала мне Тася, — теперь они в камерах со щитами».

Потом мы услышали, как открылась камера Марии. Мы слышали ее шаги мимо дверей по коридору. Следом открылась моя форточка:

— Собирайтесь с вещами.

И сейчас же загремел затвор. Дверь распахнулась. На пороге стоял дежурный. При нем я собрала свои вещи. Я ничего не могла простучать Тасе. Проходя мимо ее двери, я громко сказала:

— До свиданья, Тася!

Надзиратель громко цыкнул, указал рукой на лестницу. Я поднялась по ней на третий этаж. Лестница шла в центре одиночного крыла тюрьмы. С обеих сторон она была забрана густой металлической сеткой. Виден был весь трехъярусный пролет крыла. По молчаливому указанию надзора я свернула вдоль лестницы к южным камерам. Мимо четырех дверей я прошла, пятая распахнулась передо мной.

— Олицкая в пятой камере! — громко крикнула я и переступила через порог. Стремительно закрывшаяся за мной дверь чуть не сбила меня с ног.

Камера была такая же, как внизу. На окне щита еще не было. Его набили на другой день. Но койки было две. Я не успела ничего сделать, ни о чем подумать, как открылась дверь. Я увидела Тасю и услышала ее крик:

— Попова в пятой!

Как и меня, ее почти втолкнули в камеру, захлопывая дверь. Очевидно, нашим переводом была закончена операция переводов на нашем крыле. Наступила тишина. Мы с Тасей были счастливы хоть тем, что оказались вдвоем. Быстро застелили мы свои койки и легли. Спать, конечно, не могли. Мы понимали, что теперь началась реорганизация Яро-

славской тюрьмы. Теперь и Коля, и его товарищи поймут это.

День за днем мы выясняли, что же ждет нас. Мучительно хотелось знать, что произошло в мире, чем вызван новый зажим режима. До первого января 1937 года как будто ничего особенного не случилось. Мы ежедневно получали газеты. Что вызвало завинчивание режима тюрьмы?

Наутро на окна нашей камеры навесили сколоченный из досок щит. Мы слышали стуки молотков у соседней камеры, и дальше, и внизу. Перед обедом в камеру к нам пришли с обыском. Обыск был такой же, как при вывозе из Суздальского изолятора. Три женщины суетились по камере и вокруг нас. Казалось, они вылизывают каждый квадратик нашего тела, камеры, пола и стен. Опять отобрали все наши личные вещи, оставили по смене белья и платья, надетые на нас, обувь и верхнюю одежду. Мы просили вызвать к нам старшего, дежурного по корпусу, начальника тюрьмы. Мы просили дать нам бумагу, карандаш для заявления. Нам объявили, что до очередного обхода начальника никто никаких заявлений от нас принимать не будет.

К вечеру нас вывели на прогулку. Посередине прогулочного двора была выстроена изгородь из сплошных досок. Она представляла собой четыре клетки. Нас пропустили в одну из них, и заперли дверь. Размером клетка была чуть больше нашей камеры.

— Разговаривать не полагается. Ходить по кругу, заложив руки за спину. Прогулка пятнадцать минут, — отрапортовал прогулочный. Сам он поднялся на помост, шедший вдоль всех четырех клеток и заходил вдоль них.

Мы не заложили рук за спину. Мы ходили с Тасей и пытались разговаривать, хотя говорить нам и не хотелось. Через пятнадцать минут нас вернули в камеру.

На другой день, а может через два дня, во время оправки, мы услышали крик:

— Я, Н., объявляю голодовку!

За ним следующий, и следующий... Каждый заключенный, возвращаясь из уборной, кричал, проходя по коридору, свою фамилию и объявлял о голодовке. Затихшие, сидели мы с Тасей и считали. Фамилии были нам незнакомы. Нам было понятно все. Товарищей, как и нас с Тасей, лишили маленьких тюремных прав. На завинчивание режима заключенные отвечали голодовкой. Наутро, на следующий вечер мы слышали все новые фамилии примкнувших к голодовке людей. Услышали мы и голос Коли.

— Я, Зелигер, объявляю голодовку за политрежим.

До сих пор голодовку объявляли неизвестные нам люди. Социал-демократы всегда были ярыми противниками голодовки. Если заголодал Коля, значит, заголодали социал-демократы.

Из соседней с нами камеры на стук не отвечали. Но до нас доносилось перестукивание соседних камер. Включиться в него мы не могли, но мы понимали, что люди сговариваются о голодовке за режим. Мы с Тасей не разделяли действий товарищей. Жизнь социалистов вот уже более пятнадцати лет протекала в изоляции. Сидели они без перспектив на будущее. Сидели на годами сложившемся режиме. И вдруг по неизвестным им причинам их внезапно лишают всего. Только питание пока оставалось хорошим. Не думают ли товарищи, что это местная ярославская реформа?

Тася и я были вывезены из Суздаля. Теперь мы поняли, какие земляные работы велись в Суздале на прогулочном дворе. Там строились такие же клетки для прогулок. Мы были уверены — и там навесили на окна щиты. Меры, применяемые к нам, не ярославские, а всесоюзные меры. Пережив коллективную голодовку на Соловках, мы знали трудности и сложности групповой голодовки. При разобщенности и неоднородности коллектива мы не верили в возможность проведения ее. Мы считали голодовку заранее обреченной на неудачу. Но... что могли мы предпринять? У нас, вновь прибывших, не было связи с коллективом. Мы не могли повлиять на решение товарищей. А режим тюрьмы? Думать и решать было нечего. Товарищи голодают за режим. Можем ли мы не присоединиться к ним?

— Я не сниму голодовки, иначе как в камере с Массовером, — сказала мне Тася. — А если развезут нас всех, разобщат, изолируют, что тогда?

Я молчала. Январь шел к концу. В апреле кончался срок моего заключения. Если нас разъединят, развезут, потом придут ко мне в камеру и скажут: «За какой режим вы боретесь? Снимайте голодовку, поправляйтесь — и в ссылку». Моя голодовка могла быть только голодовкой солидарности. Пока будут голодать Тася и ее товарищи, буду голодать и я. Иного выхода я не видела.

Тревожную ночь провели мы с Тасей. Наутро, когда нас выпустили на оправку, идя по коридору, мы прокричали:

— Попова объявляет голодовку!

— Олицкая объявляет голодовку!

Вернувшись в камеру, мы отказались принять хлеб.

Все шло обычным в таких случаях порядком. Нам предлагали хлеб, обед, ужин. Мы не принимали еду. Тогда явился старший и дал нам по листку бумаги и карандаш. Мы с Тасей написали заявление на имя начальника тюрьмы. Мы требовали содержания нас в тюрьме на политрежиме, согласно вынесенному нам приговору. Старший ушел. Через полчаса к нам в камеру вошли трое надзирателей для производства обыска. Что могли они отобрать у нас, когда и так все было отобрано? Надзиратели взяли табак, спички, теплые вещи. Тася не курила. Мне, конечно, было тоскливо без папирос, но к этому я была готова. Мы принимали в камеру только воду.

Голодовка обещала быть длинной, надо было беречь силы. С первого же дня мы залегли на койки. Тасю больше всего мучило то, что она не могла дать весточку матери о своем переселении в Ярославль. Конечно, она болела за своего трехлетнего сына. Я много думала о Шуре, о нашей внезапной разлуке, о том, что и как переживает он и товарищи в Суздале в эти дни. Шура сказал мне на прощанье — голодать только по политическим мотивам. Я не могла не голодать сейчас, хотя через два месяца кончался срок моего тюремного заключения. Может быть, именно потому, что мне предстояло выйти на волю, я не могла оставить товарищей в борьбе за режим, в котором им придется сидеть годы.

В первые дни голодающие еще выходили утром и вечером на оправку. Тогда по коридору разносился крик: «Катя, Тася, привет!» На шестой или седьмой день выходы из камер прекратились. На десятый — с обходом по камерам прошел врач. Низенький, ру-

мяный, упитанный, он измерял температуру, прослушивал пульс, уговаривал снять голодовку.

Мы прислушивались к хлопанью дверей. Судя по звуку открываемых и закрываемых дверей, голодало все крыло. Все его три этажа.

Ото дня ко дню силы наши падали, но голова оставалась ясной. Мечтать о будущем мы с Таней не могли. Мы не верили в победу, в возврат политизоляторского режима. Отсчитывая дни, Тася думала о горе матери, не получающей писем от нее больше месяца. Мы думали о том, что привело к слому режима. Что произошло на воле? Произошла неудавшаяся попытка свержения власти? Газет не было. Вести не доходили ниоткуда.

На четырнадцатый день голодовки снова захлопали двери камер, открывались и закрывались они быстро. Значит, шел обход. Дошла очередь и до нас. В камеру вошел военный в сопровождении старшего. Он отрекомендовал себя как начальник Ярославской тюрьмы особого назначения. Смысл его слов сводился к тому, что политизоляторов больше не существует, что мы находимся в тюрьме особого назначения и режим изменен не будет. Ни личные вещи, ни газеты, ни письменные принадлежности в камеру допускаться не будут. Продолжительность прогулки — пятнадцать минут. Переписка с ближайшими родными — раз в месяц. Он предложил снять голодовку. Мы ответили, что голодовку не снимаем. С коек мы уже не поднимались, говорили немного, больше молчали и думали про себя.

Я никогда не забуду одной горькой минуты. Я лежала на своей койке, повернувшись лицом к стене. Очевидно, я уснула. И вдруг мне послышался Шурин голос. Шура окликал меня. Я забыла, что я в каме-

ре Ярославля, что со мной не Шура, а Тася. Я была уверена, что увижу его. Я повернулась, резким движением села на койке. Тася лежала полуприкрыв рукой глаза. В ответ на мое резкое движение она отвела руку от лица.

— Что с вами, Катя?

— Ничего, — я легла снова. Острое чувство утраты, утраты последнего реального ощущения Шуриной близости.

Силы наши теперь падали быстро. Отношения с Тасей у нас были хорошие, но были мы очень разные. Тася страстно хотела жить с сыном, с мужем. Наша голодовка казалась ей ужасной бессмыслицей, неоправданным концом жизни. Ей казалось правильнее выдержать любые условия тюрьмы, напрячь все силы на выживание в любых условиях, чем бесперспективно умирать от голода.

Мне думалось по-другому. Умереть в тюрьме за право на жизнь не так уж плохо. Хуже умереть, не борясь за условия, ведущие к сохранению жизни. В условиях политизолятора люди теряли силы, слабели, болели, но все же выживали. В условиях завинченного режима гибель ждет многих. Выдержит ли его сама Тася? Мне только казалось, что голодовка все равно не будет выиграна, не выдержит коллектив. Если большевики вводят режим со ставкой на наше полное уничтожение, не погибнувшие во время голодовки будут умирать постепенно. Почему хуже умереть борясь, если верить в победу, завоеванную смертью. Короче говоря, смерть в борьбе оправдана.

Тася отрицательно покачивала головой.

— Никакого значения, никакого смысла наша голодовка иметь не будет, смерти будут напрасными.

— Зачем вы голодаете, Тася?

— А как я могу не голодать, когда голодают товарищи? Передо мной выбора нет. Я не могу не умирать, хотя все мое существо протестует против смерти.

Тася была по-своему права. Но именно то, что голодали люди с таким настроением, обрекало голодовку на неудачу.

На пятнадцатый день снова неурочное открывание и закрывание дверей. Но на этот раз двери камер оставались открытыми долго. Это не мог быть обычный обход. И вдруг... До нас донесся не то крик, не то стон. Необычный в нашей тюрьме звук. Мы затихли, насторожились. Вот уже вышли люди из соседней камеры. Открылся волчок нашей двери. Кто-то разглядывал нас с коридора. Потом дверь открылась. Первым вошел в нашу камеру тюремный врач. За ним шесть надзирателей в белых халатах. За ними сестра с большой стеклянной клизмой и длинной резиновой кишкой в руках.

Искусственное кормление...

Мы обе поняли сразу, хотя не знали, как оно производится. Камера сразу стала тесной от вошедших в нее людей.

— Выпейте молока, — сказал врач, — ваше положение угрожающее. Умереть мы вам не дадим, мы применим искусственное питание.

Мы молчали. Врач повернулся к сестре.

— Питательная клизма готова?

В клизму была налита бело-желтая жидкость — смесь молока, сахара, яйца. Я хотела повернуться лицом к стене, но сильные мужские руки схватили меня, перевернули на спину и прижали к койке. Два надзирателя держали меня за ноги, двое прижима-

ли голову и руки к постели. Я не могла шевельнуться. Я могла только стиснуть зубы. Но врач левой рукой зажал мне нос, а правой ввел в рот какую-то пластинку — разжал, повернул, и во рту у меня оказался какой-то расширитель.

— Не сопротивляйтесь, — сказал врач, — лежите спокойно, иначе может получиться прободение пищевода.

Как будто я, проголодавшая пятнадцать дней, могла сопротивляться в руках четырех здоровых парней. Сестра подняла кружку со смесью. Врач стал вводить кишку в пищевод.

— Глотайте, глотайте, — говорил он мне.

Я не могла ни глотать, ни не глотать. Судорога сводила горло. Я понимала всю безвыходность моего положения. Я просто задыхалась. Из моих глаз лились слезы. Трубка вырывалась, выскакивала изо рта. Питательная смесь выливалась на постель. Три раза вводил врач кишку. Какое-то количество смеси разлилось, какое-то было введено.

Когда кружка опустела, врач вынул кишку, расширитель и минут пять массировал мне живот. Смесь должна была впитаться, заключенный лишен был возможности прибегнуть к рвоте. Меня отпустили. Врач повернулся к Тасе. Чтобы не видеть издевательства надо мной, Тася отвернулась к стене. Возле нее на карауле стояли два надзирателя.

После пережитого у меня была страшная слабость. Из глаз все еще текли слезы. Во рту было сладко, я должна была сознаться, приятно до наслаждения. Но общее состояние было ужасное. Пережив кормление сама, я вся дрожала за Тасю. К счастью, у Таси оно прошло иначе. Горловых спазм у нее не

было. Жидкость спокойно поступала в желудок. Закончив свое дело, врач сказал:

— Снимайте голодовку. Будем все равно кормить. Сперва так, затем каплями через нос, затем через задний проход. Голодовка безнадежна.

Искусственное питание применяли через день. Тася переносила его легко. У меня ни одно кормление не проходило нормально.

На двадцать первый день голодовки Тасю взяли из моей камеры, увели в другую. Мы грустно простились.

В одно из кормлений врач обратил внимание на мое состояние. Измерил температуру, оказалось 38,3°. Кормление он отменил. Как я была счастлива. У меня ничто не болело. Оставшись одна в камере, я еще лучше слышала жизнь тюрьмы. Во время кормления до меня доносились стоны и хрипы из коридора. Очевидно, не одна я трудно переносила кормление. Кормили меня теперь раз в четыре дня. На тридцатый день голодовки в мою камеру вошли четыре человека в штатском и начальник тюрьмы.

— Здравствуйте, — сказал один из них. — Мы приехали к вам из Москвы, чтобы урегулировать наши вопросы. Ваши требования не могут быть удовлетворены. Политизоляторов больше не существует.

— Зачем же вы ехали? Нам не о чем говорить.

— Нет, есть о чем. Мы все же идем вам на уступки. Мы сочли возможным удовлетворить некоторые ваши требования. Если вы сейчас в состоянии, давайте обсудим, что выполнимо из ваших требований. Ведь вы голодаете уже тридцать дней. Как ваше самочувствие?

Как проникнуть в мысли и чувства этих с сочув-

ствием смотрящих на меня людей? Не помню деталей разговора. Они перечисляли: центральную газету дать в каждую камеру невозможно, передача газеты из камеры в камеру недопустима, но разрешается выписка областной газеты. Письменные принадлежности будут выданы — только стандартного образца, бумага пронумерованная. По мере использования ее надо сдавать, и она будет храниться до освобождения. Личные вещи будут отданы в камеру. Переписка с родными ограничивается двумя письмами в месяц — одно к вам и одно от вас, нельзя перегружать цензуру. Родные могут слать денежные переводы — пятьдесят рублей в месяц, на них можно закупать нужные предметы в тюремном ларьке. Продолжительность прогулки будет установлена до одного часа ежедневно. Посылки от родных допущены быть не могут.

Я перебила:

— Сегодня первое марта. Тридцатого апреля у меня кончается срок. Входить в обсуждение режимных вопросов я не буду. Я голодаю за режим по солидарности с товарищами. Если они не снимут своей голодовки, — я буду голодать дальше.

— В тех камерах, что мы обошли, вопросы уже согласованы, и ваши товарищи кушают, — из портфеля он извлек пачку заявлений. Он зачитал мне ряд фамилий, в числе их была Тасина.

— Как я могу вам поверить?

Он развел руками.

— Если Попова голодовку сняла, я голодовку сниму, — сказала я, — но не раньше, чем буду с ней в одной камере.

— Мы не возражаем против вашего соединения, но как сможете вы перейти из камеры в камеру? Вы

так слабы. Мы принесем вам записку от Поповой.

— Обо мне не беспокойтесь, я перейду, — а с вами мне разговаривать больше не о чем.

Вежливо раскланявшись, все четверо ушли. Начальник вышел вслед. Он не проронил ни слова. Через полчаса в мою камеру вошла женщина. Она несла поднос со стаканом молока и блюдце с сухарями. Сквозь открытую дверь я увидела тачку, на которой стоял бидон с молоком и корзина с грудой сухарей. Очевидно, заключенные стали принимать питание. Но Тася?

Я сказала женщине, что приму питание только в камере Поповой. Еще минут через пятнадцать надзиратель открыл дверь и сказал «пойдемте». Я встала и пошла. Меня немного шатало, но я опиралась о стенку. И идти пришлось недалеко — всего пять камер разделяло нас. Тачка с молоком и сухарями двигалась уже на нижнем этаже.

Когда надзиратель открыл дверь Тасиной камеры, Тасенька — бледная, исхудавшая — сидела на койке. Рядом на тумбочке стояло молоко и сухари. У другой койки стояла такая же порция для меня. Я не подошла к Тасе. Я сразу села на соседнюю койку. У меня пересохло во рту, и не хватало дыхания. Мы смотрели друг на друга и молчали. Потом Тася сказала:

— Что ж, давайте есть.

Я ей ответила:

— По коридору разносят молоко и сухари.

— Я слышала, камеры принимают питание. Но все ли?

И молоко, и сухари показались нам очень вкусными. Но увы, их было страшно мало.

Мы с Тасей считали, что голодовка проиграна. Конечно, как будто бы соблюден компромисс. В тот же

день мы получили номер ярославской областной газеты. Через несколько дней нам выдали стандартный грифель, ручку и по тетради. Нам вернули наши личные вещи и книги. Мы написали домой, сообщив новый адрес: Ярославль, почтовый ящик №... Нам дали часовую прогулку, но в клетке. Где и в чем была гарантия, что завтра все эти блага не будут отобраны? Не был признан старостат, не было связи с другими заключенными. Тася уверяла, что и без голодовки мы получили бы эти блага, продуманные, взвешенные законодателями заранее.

Питание после голодовки нам дали прекрасное. По величине бака, развозившего питание, мы знали — голодало много народа.

Тася поправилась очень быстро. Я не поправлялась. Температура лезла в гору. Болел бок. Меня питали усиленно, но впрок ничто не шло. Однажды, раскашлявшись как-то ночью очень сильно, я выплюнула целый сгусток крови и гноя.

У тюремных сидельцев всегда настороженный слух. Малейшее движение на коридоре ухо четко ловит. О жизни в тюрьме мы знали по звукам из коридора. Были шумы стандартные: поверка, оправка, раздача еды, обход начальника. Каждый новый неожиданный звук в коридоре привлекает внимание. По шорохам и звукам мы с Тасей поняли, что голодавших заключенных куда-то перевели, на их место привели новых. Вместо мужских шагов по коридору слышалось постукивание женских каблучков. Доносились женские голоса. Часто был слышен женский плач. Мы с Тасей недоумевали. Откуда взялось такое количество женщин-политзаключенных? Нам стало ясно, что мы в женской тюрьме или в женском крыле, во всяком случае. Это подтверди-

лось, когда на коридорах всех трех этажей появились женщины-надзиратели. Они выпускали нас из камеры, водили на прогулку, сопровождали в баню. Только старшим по корпусу был мужчина, да библиотекарь, да начальник тюрьмы, да врач.

Женщины были молодые, нарядно одетые в пестрые шелковые платья, завитые, с подкрашенными губами, подведенными бровями. Они были насторожены, молчаливо-враждебны. Добиться от них чего-либо было трудно. Они боялись всего, дрожали перед администрацией: не решались вызвать лишний раз старшего, до минуты подсчитывали время, отведенное на утреннюю оправку, на умывание, скрупулезно отмеривали нитку, когда мы просили иголку с ниткой, чтобы зашить дыру.

Мужской надзор в массе своей лучше женского.

Мы ежедневно теперь получали газету. (Январь и февраль не знали мы, что творилось на свете.) Не сразу мы поняли и из газет, что же произошло за это время. Процессы. Бесконечные судебные процессы. У нас распухли мозги от напряжения, от желания понять, чем это вызвано. Процесс Зиновьева, Каменева, процесс Бухарина, процесс Ягоды, убийство врачами Горького и его сына... Ясности никакой не было. Мы не могли понять, кто сидит рядом с нами в тюрьме. Кто эти женщины? Чем вызваны беспрерывные истерики и слезы. Камеры не перестукивались. На наши стуки соседи не отвечали. В тюрьме стояла гробовая тишина.

Однажды нам удалось подслушать обрывки разговора заключенной со старшим по коридору. Из него мы поняли, что заключенных, окончивших срок не освобождают. Тогда я подумала, что и мне нечего ждать 13 апреля. Я была рада, что есть время подготовить себя к удару. Теперь обе мы, Тася и я, на-

пряженно ждали тринадцатого, чтобы проверить наши наблюдения, чтобы точно знать.

Новый срок

Мы не ошиблись. 13 апреля в форточку нашей камеры надзиратель подал мне бумажку и карандаш.

— Олицкая, распишитесь.

Я прочитала, что слушалось дело такой-то и такой-то, осужденной по таким-то статьям, и постановлено «содержать под стражей пять лет, с 13 апреля 1937 года по 13 апреля 1942 года.

Прочитав бумагу, я подписала: «Читала Е. Олицкая». Вернув ее надзирателю, пошла к своей койке. Форточка что-то долго не закрывалась. Надзиратель смотрел на меня. Может быть, он ждал слез, вопросов, протеста.

Тася приняла это сообщение ближе к сердцу, чем я.

— Мы не выйдем из этой тюрьмы, — говорила она.

Отчаяния у меня не было. Я была подготовлена к этому. Но как поступить? Обойти молчанием, никак не реагировать? Этого я не могла. Долго ходила я по камере и думала. Голодать? — Бесполезно. Голодать в виде протеста несколько дней — бессмысленно... Я потребовала у дежурного карандаш и бумаги для подачи заявления прокурору. Я протестовала против незаконного вынесения мне приговора без суда и следствия. Я знала заранее, что заявление мое останется без ответа, и потому закончила его примерно так: «В случае неполучения ответа на мое заявление, я вынуждена буду считать, что приговор вынесен мне не за какие-либо деяния, мною совер-

шенные, так как я все эти годы находилась в тюремной камере, а за мои социалистические убеждения».

Я прочитала мое заявление Тасе. Думать и действовать иначе, я не могла. Меня держат в тюрьме за мои мысли и убеждения, и ничего другого, как сидеть в тюрьме, мне не оставалось.

Из дома и я и Тася получили по письму, по пятьдесят рублей денег. Из тюремной библиотеки набрали научных книг, книг на иностранных языках, решили жить, как сможем. Я все успокаивала Тасю, быть может, через год, когда кончится ее срок, «ситуация» изменится. Тася и верила и не верила. Газеты продолжали нести вести о новых процессах.

Неожиданно Тасю вызвали с вещами из камеры. Тяжело было нам прощаться. Мы обещали друг другу: кто первым выйдет на волю — при первой возможности уведомит родных другого. Мы выучили адреса, я — Тасиной мамы, она — моей сестры.

В одиночке, без Таси, я прожила одну неделю. Мне выдали арестантскую форму — синяя юбка с желтой полоской на уровне колен, синяя кофта с желтой полоской у ворота, у подола и на манжетах рукавов. Не помню, при Тасе или уже без нее, все личные вещи были снова отобраны. Оставили лишь обувь, верхнюю одежду, шапку, шарф, перчатки — то, чем не снабжала тюрьма, заведшая женское белье и платье. Оставили личные книги. Прогулку тоже сократили до получаса.

В один из дней мне заявили, что меня переводят в другую камеру. Камера была расположена в том же крыле и на том же этаже. Когда надзиратель открыл дверь и впустил меня в новую камеру, я увидела пожилую женщину в такой же, как у меня, арестантской форме, сидевшую за столом перед от-

крытой книгой. Она едва ответила на мое приветствие и продолжала читать.

Я, как опытная заключенная, сразу же приступила к освоению нового жилья: заняла свободную койку, разложила свои немногочисленные вещички, поставила постель, на нее положила мои личные книги и газету. При виде газеты женщина вдрогнула.

— Вы получаете газету?

— Да. А вы?

— У меня на лицевом счету нет денег на выписку.

Я протянула женщине газету и сказала:

— Я — эсерка Олицкая, переведена к вам из другой камеры. Вы здесь давно?

Губы старушки сжались плотней, брови нахмурились.

— Я — коммунистка, я ни в чем не виновата, — и она погрузилась в газету.

Мне было очень любопытно познакомиться с новой категорией заключенных, расспросить о многом... Но если она не хочет?.. Я тоже взялась за книгу. Не все одинаково реагируют на одиночество. Мне одиночка всегда была милее. Сидеть с чужим человеком трудно. Моя сокамерница, правоверная коммунистка, не хотела, очевидно, общаться со мной. Мне ее общество не было нужно.

Но со всякими острыми углами и столкновениями общение все же постепенно налаживалось. Мне было неуютно и тяжело с ней. Вероятно, непомерно тяжелей было ей со мной.

Я знала, за что и почему сижу. Она не знала, не понимала, вся тянулась к той, во всяком случае на словах, прославляемой ею жизни. Она была человеком малообразованным, неприспособленным к книжной жизни. Ей нужен был собеседник, но не такой,

как я. Ей страшно было общаться со мной на глазах у надзора. Ведь я была — настоящей преступницей, подлинным «врагом народа».

Постепенно я узнала биографию моей сокамерницы. В 1918 году она, работница одной из ленинградских фабрик, вступила в партию большевиков. Окружавшие ее родичи были коммунистами. Один из них, ее деверь, старый большевик, был особенным авторитетом в ее глазах. В 1929 году он примкнул к оппозиции. Уверенная в его честности, идейности и убежденности, она, не разбираясь в тонкостях партийных разногласий, подписала какую-то декларацию оппозиционеров. Ни в какой оппозиционной деятельности она не принимала участия. Работала на заводе, растила сына. В 1935 году после убийства Кирова начались массовые аресты в Ленинграде. Забыв о своей подписи, М. вспомнила о ней, когда ее вызвали в КК райкома.

— Деверь мой тогда был уже в ссылке. Я шла за ЦК. Я с ним никаких связей не поддерживала. Успокаиваю себя тем, что многих вызывают. В кабинете нас много сидело, ждали очереди. Вдруг вижу идет мой знакомый. И его, значит, вызвали. Ни я, ни он виду не подали, что знакомы, не здороваемся. Как чужой он прошел, а сел на стул все-таки рядом со мной. Посидел, а потом шепотом спрашивает: «Вас по какому делу вызывают?» Я ему отвечаю: «Не знаю, а вас по какому?..»

Я перебила М.

— Вы говорите, что вы за генеральную линию, что вы, верный член партии, пришли в свой райком. Зачем же вы шептались, зачем скрывали свое знакомство?

— Такое время — все дрожали, все боялись.

— Не понимаю. Если бы я пришла в мой партийный райком, я бы ничего не скрывала от моей партии.

М. не дала мне говорить, она вскочила, заметалась по камере.

— Оставьте меня. Оставьте меня.

Мы замолчали на несколько дней. По-человечески, я знала, я должна была бы поберечь эту несчастную женщину. Но я не могла. Передо мной была несчастная старая женщина, вероятно, плохо разбирающаяся в политике, но ведь она была членом *правящей* партии. Я была враждебна, я не щадила, я говорила, что думала.

Спустя несколько дней мы заговорили. Я могла бы молчать и дальше, зарывшись в книги и думы, но М. нечем было жить — книги ее утомляли.

Я узнала, что М. была исключена из партии и сослана в Колпашево на три года. Она считала дни до окончания срока, а пришел 1937 год.

— Какой ужас, — говорила она. — В ночь, когда казнили Зиновьева, собаки в Колпашево так выли. Все мы знали — свершилось страшное...

Я перебила:

— Но как так можно думать? Почему колпашевские собаки учуяли смерть Зиновьева?

И снова М. срывалась с места, бегала по камере, и снова мы умолкали на несколько дней.

Я, пожалуй, и жалела ее. Положение ведь, правда, было трагическое. Когда стали арестовывать в ссылках, и ее арестовали в Колпашево, дали новый срок — пять лет. Сына ее, восемнадцатилетнего юношу, выслали из Ленинграда. Она считала, что сгубила и свою и его жизнь. М. не получала ни писем, ни денег. Денег и у меня было мало. Я берегла их

на выписку газет, и в тюремном ларьке покупала только папиросы и спички. Раз в декаду заключенным разрешалось купить пять пачек папирос. В тюремный паек курево теперь не входило. Я привыкла растягивать эти пять пачек на десять дней. Но М. — тоже курила, не могла же я курить одна.

В один из обходов начальником камер я, объясняя причину, просила перевести некоторую сумму денег на лицевой счет М. или разрешить мне выписывать десять пачек на двоих. Начальник категорически отказал и в том, и в другом. Причину отказа он отказался объяснить. С насмешкой в голосе он предложил выписать махорку и так как бумаги не полагалось, то трубку к ней. М. решила попробовать курить трубку. (пропущено несколько слов — примеч. перепечатывающего)... у нас отобрали, поскольку ее не положено хранить в камере. Пять дней в декаду мы курили, пять дней мучились в ожидании ларька. Плохо было и с книгами. Каждой из нас разрешалось взять в библиотеке по две книги на декаду. Я брала только научные книги или книги немецкого языка. М. — только беллетристику. Я прочитывала и ее, и свои книги, М. — только свои. Когда кроме чтения нет другого занятия, книг хватает на два, на три дня. А остальные?..

В карцере

В каждой книге стоял штамп: «Никаких пометок, помарок, обозначений на книге делать не разрешается». М. упустила из виду это правило: ногтем отмечала она строку, на которой остановилась. Я об этом не знала. В результате получилась довольно

неприятная история. Дверь нашей камеры отворилась:

— Кто в камере на «О»? — спросил старший.

— Я — Олицкая.

— Идемте со мной.

Я вышла из камеры и в сопровождении надзирателя двинулась по коридору. Надзиратель командовал: «налево», «направо», «вниз по лестнице», «прямо»... Наконец мы вошли в большую камеру без окон, освещенную электрической лампой. В противоположной стене ее была открыта маленькая дверь. Как только я переступила через порог, дверь за мной захлопнулась. Передо мной была глухая стена. Шаг в ширину, два шага в длину. На полу, на четверть от пола — низенький настил из досок. За густой металлической сеткой над самым потолком — маленькая электрическая лампочка. Где я и что со мной — я не понимала. Но дверь снова открылась, на пороге возникла юная девушка в светлорозовом шелковом платье, едва доходившем до колен. Завитые волосы обрамляли ее лицо, а накрашенные губы произнесли:

— Обыск. Разденьтесь догола.

Она забрала всю мою одежду, включая чулки и рубашку и, указав рукой в угол, произнесла — «там» и вышла.

Я осталась босая, голая, с распущенными волосами. На полу в углу я разглядела серый сверток. Подняв его, я увидела огромный арестантский халат из грубого солдатского сукна. Из него вывалились большие лапти, сплетенные из лыка. Не знаю почему, но в душе моей поднялась такая нежность к этим лаптям! С детских лет, с Сорочина, наверное,

я не видела нашей русской крестьянской обуви. Вы со мной, мои милые русские лапти. Вы — привет мне от моего народа. Вы пробрались в тюрьму, чтобы ободрить меня в трудную минуту.

Я сунула ноги в лапти. Две ноги мои вошли бы в один. Надела халат — рукава его свисали чуть не до пола. Сукно шерстило тело. Но почему-то этот арестантский маскарад рассмешил меня, и я от души рассмеялась. В ту же секунду в щелку заглянул надзиратель, очевидно, решив, что я сошла с ума. А я, подобрав полы халата, присела на низенький настил и размечталась. Вероятно, надзиратель доложил старшему, что заключенная ведет себя, как не положено. Во всяком случае, дверь открылась. Старший с порога объявил, что по приказу начальника я заключалась в карцер на пять суток. Я просто вытаращила глаза — за что?

— Сами знаете, — ответил старший.

— Нет, не знаю, но очень рада узнать, какие карцеры в советских тюрьмах.

Дверь захлопнулась, я опять уселась на настил. Теперь я знала, что мне предстоит пять суток скоротать здесь. Что такое пять суток по сравнению с вечностью. Вообще, карцер правильный. Холодно, полусумрак, не узнаешь, — день или ночь. Вытянуться на настиле нельзя. Ноги упираются в стену. Ходить негде, да и лапти валятся с ног. Халат шерстит все тело. Три раза в день открывалась дверь камеры, мне давали по кружке холодной воды и по куску черного хлеба. Я сама не могу объяснить, почему у меня все пять дней было самое прекрасное настроение. Может быть, потому что я была совершенно одна, сама с собой. Я перебирала в памяти все стихи, какие помнила, читала вслух. Надзира-

тель часто открывал волчок и смотрел на меня. Вряд ли ему встречались заключенные, так переносившие карцер. Мысль об этом смешила меня, и каждый раз, когда он открывал волчок, я довольно улыбалась. Как мое поведение преломлялось в глазах надзора, не могу сказать, но мне чудилось в нем что-то дружественное. И случилось почти невероятное: надзиратель, протягивая мне хлеб в форточку, шепнул: «Один день еще осталось потерпеть». «Вытерплю», — с улыбкой ответила я.

Когда я вернулась в камеру, моя сокамерница поднялась мне навстречу, обливаясь слезами. Она всхлипывала и ничего не могла сказать. Во всем она винила себя. После увода меня из камеры ее перевели на карцерный режим, все вещи вынесли из камеры. Ее посадили на хлеб и воду. Ей объявил старший те же пять суток на карцерном положении за то, что в библиотечных книгах найдены пометки на полях, сделанные ногтем. М. созналась в своей вине. Она уверяла, что не придавала значения таким меткам, она говорила о моей невиновности. Начальство это не интересовало. Оно накладывало взыскание. И самое худшее — ведь карцер был уже позади — на месяц лишало нашу камеру возможности пользоваться библиотекой. Вот это был удар! Месяц без книг. Целый месяц.

Тянется время...

Чтобы убить время, я прибегла к всегда спасавшей меня тюремной «музе». Я сочиняла всякие стихи еще во время голодовки. Тогда я не могла записать их. Теперь у меня были карандаш и бумага.

Первым я записала «Моей звездочке, светящей в окне»:

Изменяются нравы, обычаи,
Изменяются судьбы людей.
Пусть столетья пройдут, — но как нынче,
Любоваться звездою моей,
Моей яркой лучистой красавицей,
Старость, юность ли, будут всегда,
Узник к ней, если тюрьмы останутся,
Грустный взор устремит и тогда.
И ее голубое мерцание
Оросит его душу светло,
Проникая в унылое здание,
Как ко мне проникает оно.

Часами могла я стоять в двух шагах от окна (ближе подходить не разрешалось) и, заглядывая в щель над щитом, смотреть на мою звездочку.

Написала я и «Товарищу»:

Мы с тобой не встречались давно,
Не припомню лица твоего,
Не припомню имени даже,
Что же ты мне, товарищ, расскажешь?
. . . .

Может быть, стихи помогли мне перенести пустые дни этого месяца. С сокамерницей я не могла говорить. Я ежечасно чувствовала, что кроме обиды и горечи, у нее ничего не осталось, фальшивить перед ней я тоже не могла, хотя и жаль мне ее было. Молчание же мое действовало на нее угнетающе. В чем найти выход? В доброте, в сочувствии, в мягкости? Мне претило ее всепрощение к тем, кто калечил жизнь и ее, и мою, и тысячи других. Я давала себе

слово никогда ничего не простить и не забыть. Не за себя. Нет. За тех, кто окружал меня. За Россию, над которой производился страшный эксперимент. Все существо протестовало против суда истории, в котором всегда возвеличивались победители, какими бы путями они ни шли, что бы ни попирали ногами. И сейчас возводили на пьедестал Петра I, Ивана Грозного — страшные страницы русской истории. В противовес, мне думалось, что побеждали тьму, расчищали путь для будущих поколений не победители и завоеватели, гарцующие на конях и угнетающие народ, а страдальцы, — покоренные, но не побежденные. Сибирь осваивали беглые, раскольники, декабристы, сумевшие выжить и пронести через жизнь свою веру. Если что доброе разовьется и уцелеет из русской революции, а в конечное торжество революции и победу социализма я твердо верила, то это будет то, что в муках и страданиях создает наш народ не с помощью победителей, а вопреки им.

Кончилось утомительное сидение без книг. Опять в нашу камеру зашел библиотекарь, и опять я забилась в книгу. Систематически заняться каким-нибудь предметом я не могла. Я читала, что попадается по самым разным отраслям знаний. Чем больше было книг, тем больше я радовалась. Многие я задерживала месяцами, менялись книги только моей соседки. Я читала книги по астрономии, геологии, по истории культуры. Хорошие — перечитывала по нескольку раз.

Месяцы шли. Тюрьма приняла устройчивый, завершенный вид. Женский надзор сменил шелковые платья на строгую форму надзирательниц. Состав заключенных, очевидно, был укомплектован. Все камеры были заселены женщинами. Питание мы по-

лучали удовлетворительное, но как и все, я с моей сокамерницей теряли аппетит. Идя на оправку, мы ежедневно выносили остатки хлеба, каши, супа. Груду таких остатков мы видели в баке, специально поставленном возле уборной. Нередко из камер доносились плач, истерики. Вне этого была гробовая тишина. Малейшее повышение голоса в камере обрывалось надзором. Говорить заключенные должны были шепотом.

Однажды, в начале 1938 года, тишина эта была нарушена. В коридоре послышалось какое-то движение, шум, беготня. В нашу камеру проник запах гари. Мы узнали, что горела тюремная каптерка. Заключенных из некоторых камер переводили в другие. Нас перемещение не затронуло. Но потом другие заключенные рассказывали мне, что кто-то из перемещенных сообщил, что в Ярославской тюрьме заключалась Мария Спиридонова.

Я ежедневно и упорно стучала в стену, надеясь вызвать соседей. Откликов долго не было. Как-то на стук мой дробью отозвалась соседняя камера. Но поднявшиеся было надежды скоро рухнули. Соседка ежедневно безбоязненно постукивала в нашу стену, но перестукиваться она не умела и, вероятно, не хотела. Тысячу раз выстукивала я ей тюремную азбуку, она ее не применяла. Два раза стучала она — утром и вечером. Очевидно, это означало «доброе утро» и «спокойной ночи». Позже, при вывозе из изолятора я с ней встретилась. Это была киевлянка Зина Фраткина.

От одуряющего бездействия я распустила концы моего шерстяного вязаного шарфа и чулок. О железный край койки, а потом кусочком стекла, найденным случайно в уборной, я из обгоревших спи-

чек вытачивала крючки для вязания и тайком от надзора вязала какие-то никому не нужные кружева, салфеточки. Для М. моя выдумка оказалась спасением. Со страстным рвением она принялась за такую работу. Она оказалась мастерицей и придумывала всякие способы вязки. У нас не хватало ниток и, довязав салфеточку одним узором, она распускала ее и вязала другим. Она не была достаточно осторожной и два раза засыпалась с вязкой. Надзор отобрал салфеточки и вызвал женщин произвести обыск. Но крючка они, конечно, не нашли. Мы бросили крючки на пол, а кому бы пришло в голову рассматривать обгорелую спичку?

Кому мешало наше вязание? Почему оно преследовалось?

Весна сменилась летом, лето — осенью и зимой, и опять пришла весна. Мы не видели зелени: ни травки, ни цветочка, ни листика на дереве. Однажды между выступом стены и асфальтом дорожки я увидела и сорвала желтую головку одуванчика. Я принесла его в камеру, но действовала недостаточно осторожно. Прогулочный надзиратель заметил и доложил, и при входе в камеру надзиратель отобрал у меня цветок.

Большое развлечение доставила мне раз мышка. Она выглядывала в отверстие вентиляции, расположенной в углу под парашей довольно высоко от пола, поводила усиками, сверкала черными бусинками глаз. Но оказалось, что М. ужасно боится мышей. Она вскрикнула, забралась с ногами на койку, умоляла меня прогнать мышонка. И махнула на мышку полотенцем. От перепуга мышка свалилась на пол и забегала, забилась вдоль стен. Ни одной щел-

ки, никакого выхода из камеры не было. Мышка попала в тюремную одиночку. Забыв о тюрьме, о режиме, о тишине, разговорах шепотом, М. вскочила на табуретку, привинченную к стене, и заорала во весь голос. По коридору к нашей двери примчалась надзирательница, заглянула в волчок, громыхнула форточкой двери:

— Что такое?

— Мышь! мышь! — орала М.

Может быть, надзирательница тоже боялась мышей, форточка захлопнулась. Через несколько минут в ней показалось лицо старшего.

— Чего кричите. Мыши испугались? Тоже мне преступники! Гоните ее.

М. дрожала на скамье.

— Куда гнать? — спросила я.

— Ну, поймайте, да в парашу.

Ловить мышь и бросать ее в парашу я не собиралась. Я сидела на койке и смотрела на мечущуюся по камере мышь. Не было на полу ни одного укромного уголка для нее. Весь пол был гладок и виден как на ладони. Тогда надзиратель открыл дверь, шагнул в камеру. В ту же секунду пронзительно взвизгнула надзирательница. Мышка шмыгнула прямо ей под ноги в коридор.

— Ш... Ш... Ш... — зашипел старший. Дверь нашей камеры затворилась. Мы слышали, как за дверью старший отчитывал надзирательницу. Возможно, ее вопль спас нас от карцера или от других неприятных последствий.

От сестры я получала раз в месяц коротенькое письмо. Из писем я поняла, что Дима арестован, что Шура получил новый десятилетний срок без права на переписку.

Я рада была хоть тому, что Аня цела, жива и здорова.

Забитые женщинами, политическими преступницами, тюрьмы, рассказы М. о забитых до отказа этапных камерах, об аресте поголовно всех ссыльных, статьи Ярославской областной газеты — все говорило о политике террора и репрессий. Но я не понимала ни причин, ни масштаба событий.

Нежданно-негаданно в один из сереньких тюремных дней открылась дверь нашей камеры.

— Кто на «О»? Я ответила.

— Соберитесь к начальнику тюрьмы.

Какого еще сюрприза ждать от начальника тюрьмы? Я вышла из камеры. Вели меня долго. Кабинет начальника — чистая, огромная, светлая, прекрасно обставленная комната: гардины и ковры, диваны и кресла, красный письменный стол... Ведь бывает же такое! Ни щита, ни решеток на окнах...

— Я вызвал вас, чтобы сообщить, что в ближайшие дни вы от нас переводитесь.

— Куда?

— Это вы узнаете позже. Я хотел вам сообщить, что все ваши личные вещи, хранящиеся на складе тюрьмы, пойдут за вами следом и будут вручены вам на месте. (Это он соврал. Вещей своих мы не получили.)

— Это все? — спросила я.

— Все, можете идти.

Я вернулась в камеру. Я не успела рассказать М. о своем вывозе куда-то, как снова открылась дверь. Теперь вызывали М. Разговор с начальником был тот же. Теперь мы прислушивались к звукам в коридоре. Одна за другой открывались двери камер, заключенных выводили и приводили.

Что это? Развоз тюрьмы? Мы были выбиты из колеи и взволнованы. Куда? Зачем? Ждет нас облегчение нашей участи? Хуже, пожалуй, быть не может.

На другой день во внеурочное время открылась дверь камеры.

— Без вещей обе следуйте за мной. Шума не производить, ни слова не говорить.

Молча вышли мы с М. из камеры. Спускаясь по лестнице, я увидела такое непривычное для пустынных коридоров тюрьмы зрелище, что остановилась. Остановилась и идущая со мной М.

Вдоль всего нижнего коридора двумя рядами выстроенные друг к другу в затылок стояли женщины, одетые в арестантскую форму. Молодые и старые, перепуганные, взволнованные. Нас подвели и поставили в строй. И тут же мы увидели, что сверху по лестнице спускаются еще и еще... Подходят к нам, становятся в строй. Вдоль строя взад и вперед шагали надзиратели.

Сколько было пар, я не могла сосчитать. Подходили все новые. И снова команда:

— Ни слова не произносить. Шума не производить. Друг от друга не отставать. Шагом марш!

Змеей поползла вереница женщин по коридору, выползла на тюремный двор, обогнула прогулочные клетки, тюремное здание и сквозь наспех открытые широкие двери вползла в другое здание. Это была баня. Но не та, в которую водили нас обычно. В этой мыли большие этапы.

Между заключенными забегали надзирательницы, раздавая железные кольца.

— Раздевайтесь. Одежду надевайте на кольца. Снимите номерок с кольца, получите мочалку, мыло. На мытье дается 10 минут.

И тут все женщины заговорили. Молчание было нарушено.

— Это невозможно. Мы не можем вымыться в десять минут.

Женщины торопливо раздевались, спешно сдавали кольца, получали мыло, спешили захватить таз, место поближе к крану.

Отвыкшая от людей, я дико озиралась в этой толпе голых женщин. Напряженно вглядывалась в лица, — быть может, я кого-нибудь встречу здесь из своих. Может быть, Тася здесь. Я не мылась, я проходила по бане, спрашивая, нет ли социалистов. От слов моих женщины шарахались в сторону. И только одна не проявила испуга.

— Я ваша соседка по камере Зина Фраткина. Я несколько раз видела вас в щелку волчка, когда вас выводили на прогулку.

В это же время ко мне подошла маленькая очень худенькая черная женщина.

— Я сижу по делу социал-демократов Армении. Люся Оранджанян.

Все кругом мылись. Мы с Люсей спешили обменяться торопливыми словами. А в двери уже слышались окрики:

— Выходи. Воду закрываем.

Нас выстроили парами и снова развели по камерам.

13. ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП — НА КОЛЫМУ

На следующий день утром, сразу после оправки и завтрака, так же, как накануне, со строгим предупреждением, нас вывели из камер, но на этот раз с вещами. Собственно, вещей почти не было. По маленькому узелку: пара чулок, пара носовых платков, шарф, косынка, перчатки...

Так же попарно повели нас из тюрьмы на прогулочный двор, в прогулочные клетки. В каждую завели человек по сорок. Двор был полон надзора. В нашу клетку зашли женщины надзирательницы и стали производить обыск.

День был теплый, даже жаркий. На вышках клеток стояли дежурные. Женщин сгрудили в одну половину клетки и, вызывая по одной, обыскивали и перегоняли в другую половину. Арестантки толпились, присматривались друг к другу, через щель поглядывали в соседнюю клетку, где происходил такой же обыск.

По окончании обыска каждую вызвали поименно: «Фамилия, имя, отчество, статья, срок...» и выпускали из клетки на тюремный двор.

Во дворе стояли крытые черные машины. Много машин. Каждая заполнялась людьми до отказа. В машину втискивали столько женщин, что повернуться, двинуть рукой не было возможности. Мы задыхались, а машина стояла. Тронулись мы, очевидно, когда был погружен весь этап. Машины шли недолго. Когда двери нашей машины открылись,

мы увидели целый состав красных товарных вагонов, и нас перегнали в вагон. Он был разделен на две половины. В каждой, встречно друг другу, шел четырехярусный настил из досок. На нижних нарах можно было сидеть, согнувшись, на верхних — только лежать. Молодых загоняли на верхние нары, пожилые размещались на нижних.

Вагон был уже полон, но надзор загонял все новых и новых арестанток. В конце концов, на нарах разместилось по десять человек. Лежали в ряд, плотно, плечо к плечу. Согнуть ноги было невозможно. В середине вагона, против вагонных широко раздвигающихся дверей, было оставлено пустое место. Там, в углу, дыра-параша, закрытая тяжелой деревянной крышкой.

Сколько нас было в вагоне, я не помню. Много было. Очень много. Было невероятно темно, невероятно жарко. Наверное, переносимо, потому что за перегон от Ярославля до Владивостока, тянувшийся ровно месяц, из нашего вагона вынесли на разных остановках только трех полуживых женщин. Одна из них, маленькая хрупкая пожилая женщина, конечно, не могла выдержать такого этапа. Она страдала астмой. Задыхаться она начала с первого же дня. Говорила она мне, что астму приобрела на каторге, которую отбывала по эсеровскому делу. После 1917 года стала коммунисткой, попала в Ярославль и в наш этап. В нем ее жизненный путь и оборвался.

Другие две были еще совсем молоденькие. Ярославль подорвал их здоровье. На этапе после недели пути они не смогли больше принимать пищу, ту пищу, которую нам давали.

На этапе я, наконец, вошла в прямое соприкосно-

вение с массой женщин, которые заполняли Ярославскую тюрьму особого назначения. Никого из социалистов, кроме Люси, я не встретила. О ней я узнала, что в 1936 году она была арестована в ссылке. Люсю привезли в Ярославль. Как и я, она мечтала встретить своих товарищей. С Люсей мы сразу заговорили на одном языке. Но остальные? С любопытством и интересом приглядывалась я к ним. По их статьям я знала, что передо мной всё политические преступники. Все они, за редким исключением, были осуждены на десять лет тюремного заключения по статьям 58^{10} — 58^{11} и 58^{8} — террор и соучастие.

Я смотрела и не верила своим глазам и своим ушам: разношерстная, разнообразная, ни по какому признаку, кроме арестантской одежды, не объединенная масса. Одни из них были чрезвычайно возбуждены, другие молчаливы и податливы. Одни верили, что теперь выяснена их невиновность и их везут в ссылку, другие полагали, что массовый вывоз всей тюрьмы не может быть признаком пересмотра дел и вывоз можно объяснить лишь переброской в другую тюрьму или лагерь. Проведшие годы в замкнутых камерах, — кто по двое, кто по одиночке, — женщины не замолкали. Каждая стремилась рассказать свое дело, свое следствие, свой незаслуженный приговор. Самым страшным для них было, что все они сидели за несовершенные ими преступления. Меня поражало, что им было понятно то, о чем они говорили. Никогда не слышала я раньше об избиениях во время следствия, о пытках. Обрушилось на меня и то, что все они, или почти все, подписали протоколы с вымышленными показаниями против себя и других. Я слушала раз-

говоры их между собой. Кое-что рассказывали мне соседки по нарам.

Привлекли мое особое внимание две совсем юные девушки — Тамара и Нина. Подружились они в Ярославле, а теперь старались быть вместе. Они забрались в верхние нары вагона, и смотрели на нас вниз. Лица их были по-тюремному серыми и отекшими, но глаза сверкали живо и молодо. Они были счастливы, что вырвались из Ярославской одиночки, заинтересованы творящимся вокруг, верили в лучшее будущее. Срок у них был большой, — десять лет тюремного заключения. Но они и мысли не допускали, что просидят все десять лет. «Мы изучаем жизнь», — говорили они. Рядом с ними не то узбечка, не то таджичка — нацменка, как говорили женщины.

«Оппозиционерки»

— Вы не узнаете? Ее фотография была напечатана во всех газетах. Она подносила букет Сталину, и он обнял ее. Она первая, снявшая паранджу, первая, вступившая в комсомол. Она простояла двадцать четыре часа на допросах в жарко натопленной комнате в шубе. Семь ночей ей не давали спать. Она такая убежденная. До сих пор она считает, что все мы — враги, и только с ней произошла какая-то ошибка.

На нижних нарах против меня — женщина огромного роста. Крупная, широкоплечая. Лицо у нее опухшее, дряблое, щеки свисают мешками. О ней мне рассказывает моя соседка.

— Я с ней встретилась в камере для беременных. До 1937 года она была начальницей лагеря. Говорят,

зверь была. После разоблачения Ягоды ее тоже арестовали. На следствии она оговорила всех — думала, ей лучше станет. Пришла она в камеру до допросов еще важная, толстая, в три обхвата. Все мы — враги, убить нас надо. А как стали ее на допросах таскать и бить, — от нее ничего не осталось. Били ногами, топтали, произошел, конечно, выкидыш, тут же, в камере. А через сутки опять на допрос.

— Где же ваш ребенок? — спрашиваю я.

— Восемь месяцев пробыла я с ним в лагере для мамок. Потом отняли, а меня на этап. Прямо из рук моих вырвали. Трое у меня. Старшие после ареста хоть вместе остались, а этот... и не разыщешь потом. А какой карапуз крепкий, — она заплакала.

— За что вас взяли? — спрашиваю я, чтобы отвлечь ее.

— Мой отец и брат были оба оппозиционеры. Отец — большевик еще с царских времен. Его взяли, потом арестовали брата. Я им всё передачи носила. Раньше я была комсомолкой, а когда отца арестовали, меня из комсомола исключили, а мужа — из партии. А в 1937-ом взяли и мужа, и меня; мой отец чудесный, честный человек, а от меня требовали на следствии, чтобы я его оклеветала. Двое старшеньких моих в детском доме. Воспитательница мне о них в тюрьму сообщала, а маленький где-то в яслях при лагере остался...

Наш разговор о детях слышали другие арестантки. Услышала его и Зинаида Тулуб, невысокая пожилая женщина с изумительными горящими глазами. Тулуб не вмешалась в наш разговор, она просто заговорила вслух. Может быть, сама с собой, может быть, обращаясь ко всем.

— И все-таки я — самая несчастная. Я ни в чем не виновата перед нашей родной коммунистической партией. Я не принадлежала к партии, но я остаюсь верна ей. Я — преданный партии советский писатель. Я работала над своей книгой, над большим историческим романом «Людоловы». Десять лет я жила, погруженная в ту эпоху, в свою работу. Моя книга одобрена, она принята к печати. Пусть это так надо, я буду сидеть в тюрьме. Я не ропщу. Я одинока, у других остались дети, я знаю это. Им тяжело, но о детях партия наша позаботится. Их возьмут в детские дома, их воспитают. А у меня, у меня в квартире, из которой меня увели осталось двенадцать кошек, кто о них позаботится. Кто их накормит?

Ответом ей были гневные крики:

— Кошки! Она смеет говорить о кошках!

С кем-то из женщин началась истерика. Матери очень остро переживали разлуку с детьми. У большинства дети были еще малые. Писательница сжалась, поникла, непонятая никем. Позже она обратилась ко мне с вопросом.

— Я слышала вы не коммунистка. А кто же вы?

— Я — эсерка.

— Эсерка? Об эсерках я знаю, но ведь это было так давно... А сейчас?

— Я не отказываюсь от партии. Как я думала раньше, так я думаю сейчас.

— Боже мой, — воскликнула она восторженно. — Так вы же ихтиозавр! Не обижайтесь, пожалуйста. Я ничего плохого не думаю о вас. Мне просто удивительно встретиться с ископаемым. С ихтиозавром. Мне очень хотелось бы побеседовать с вами, но не сейчас. После ареста у меня что-то как оборвалось

внутри. Неужели и вы не поймете, что я непрерывно думаю о моих маленьких зверьках. Ведь они погибнут, а какое им дело до политики.

Я молчала. Тулуб не производила на меня впечатление ненормальной. Она очень охотно, очень здраво говорила о своей литературной работе, о своих занятиях над архивными материалами. Она прекрасно знала историю Украины. Еще... она говорила о кошках. О политике, о следствии, о тюрьме она не говорила.

Нюра-Нэлля

Со мной рядом на нарах лежала молодая простая приятная женщина лет тридцати двух. Открытое доброе деревенское русское лицо. Говор ее тоже был народный. Нюра мне сказала, что она малограмотная и в деле своем никак не разбирается. Срок ей положили — десять лет заключения и пять поражения в правах. Статья КРТД — 58^8 через 17. Буквы изумляли меня. В приговоре почти у каждой арестантки указывались буквы. Я не сразу сумела расшифровать их. КРД, КРТД, ПШ... и еще, и еще...

У Нюры детей на воле не осталось. Остался у нее любимый. Меня очень удивило его имя «Вольдемар». Больше всего она говорила о нем. О том, как она счастлива, что он не арестован, уцелел. Нюра говорила, что на следствии его имени не называли, и она не называла, хотя из-за этого ей пришлось промолчать о том, где и с кем проводила вечера. Нюра безотчетно радовалась вывозу из тюрьмы. Она не надеялась на освобождение. Она мечтала о лагере.

— В тюрьме я зачахла совсем. Все о смерти думала. Камера — что второй гроб! Если б я читать

могла. Я ведь только свою фамилию подпишу, а больше нет. Если в лагерь везут, там работа будет, время скорей пройдет. Вот бы мне по моей специальности работы получить.

— А какая у вас специальность?

— Четыре года я на кухне работала. Уже помощником повара стала. Подмосковные вы? Не обессудьте, я вам свою всю жизнь расскажу. В камере передумала. Ходишь и думаешь. Ходишь и думаешь...

Жила я в селе, школу четырехлетку кончила. Деревню всю нашу в колхоз перевели — мне еще шестнадцати не было. Я больная была: хотела — работала, хотела — нет, не закрепленная еще. Мечтала учиться... И встретился мне тут Вольдемар. Шофером работал, мимо нашего сада ездил. Недалеко от нас дом отдыха был для высших московских начальников. Вольдемар начальников туда на отдых возил. Он меня и сманил туда на кухню работать посудомойкой. У него там знакомые были... Если бы вы моего Вольдемара видели. Такой парень. Не курит, не пьет, и красивый, и умный. Наверно, за то его и взяли вождей возить. Я там всех в доме повидала. И Калинина видела. Они больше обыденно приезжали, реже на день, на два. А уж отдых у них был — прямо царский. Из еды все, чего душа ни пожелает. Поработала я там года три, меня за работу отличили, повышать стали. Все сулили на курсы поваров послать. И с Вольдемаром мы хорошо жили. Хотели уж зарегистрироваться. В камере я все о нем думала. Пока в Москве была, он мне в тюрьму передачи носил. Говорил — дождусь. А где дождаться. Как мне сказали — десять лет, сразу поняла — не дождется. Взяли нас с кухни сразу всех.

— За что же вас всех взяли?

— Об этом я думать не хочу. Террористка я, вот я кто. Отравить мы кого-то хотели. Убийцы мы. Слыхано ли дело — с убийцей я работала, убийце помогала. Я на последнем свидании говорю Вольдемару: «Отрекись. И живи, хоть я не виновата».

— Почему вы его так, на французский лад, зовете?

— Очень ему так нравилось. Он меня Нэллей звал. Мы, говорит, теперь хозяева страны, пусть и имена у нас благородными будут.

С Нюрой у меня установились хорошие приятельские отношения. Простая и милая женщина, она истосковалась в тюрьме. Она отзывалась на горе каждого, и была счастлива, если ей удавалось поговорить о Вольдемаре. Делом своим она вовсе не интересовалась. Она не подписала протокол допроса, сфабрикованный следственными органами.

— Как бы я Вольдемару в глаза глянула, если бы сама на себя такое написала?

Зеленый лук

На одной из остановок дверь вагона открылась. Конвоир с порога объявил:

— Можем купить для вагона зеленого луку. Составьте список, у кого есть деньги на лицевом счету, и укажите, на какую сумму купить луку.

В вагоне оживились. Составить список поручили мне как опытному тюремному сидельцу. Лук выписывали все, у кого были деньги, — кто на двугривенный, кто на полтинник. Я составила список, подсчитала, сдала дежурному по вагону.

Нам принесли большую кипу зеленого луку.

— Вы список составляли, вы и делите, — сказали мне женщины.

Я разделила весь лук на равные кучки по числу нар с тем, чтобы каждая нара разделила между лежащими на ней людьми.

Когда я разнесла кучки по нарам, — сперва шепотом, потом все громче, — поднялся ропот. Оказывается, я разделила неправильно. Надо было делить не на равные кучки, а пропорционально собранным деньгам. Почему выделен лук тем, кто не вносил денег? То есть тем, у кого их не было.

— Я не на волю еду, я деньги беречь должна...

— Я не могу кормить нищих...

— Это наши последние крохи, мы не можем угощать...

Сперва я не поняла. Потом растерялась. Всего, кажется, я могла ждать от заключенных со мной каких ни каких, а все-таки коммунисток, но этого!.. Кажется, на глазах у меня даже выступили слезы.

Я тоже была измотана тюрьмой, как остальные. Я злилась, что из-за этого паршивого лука плачу. Только чтобы справиться со слезами, я стала гневно говорить о том, как раньше жили в тюрьмах социалисты: как делились каждой крошкой, как не считались с тем, чьи деньги, и учитывали больных и ослабевших. Не помню всего, что я наговорила, но вагон как-то затих. Луковый вопрос не решался и не обсуждался. Но я заметила, что большинство осталось мною недовольно. Многие, кто раньше прочил меня в старосты вагона, стали теперь сторониться. Но кое-кто выразил мне сочувствие. Среди них была Тоня.

«Враг народа» Тоня Букина

Тоня Букина была моей ровесницей. Революция 1917 года застала ее работницей одной из фабрик Ленинграда. Заработок ее был ничтожно мал. 23 февраля вместе с другими работницами вышла она на демонстрацию. Революционная волна захватила и перевернула всю ее жизнь. Тоня вся отдалась общественной работе, вступила в партию большевиков. Работала и училась. Ее, как активистку, послали на курсы повышения квалификации. Потом она стала работать женорганизатором. Она полюбила своего партийного товарища, но ей некогда было налаживать свою семейную жизнь, воспитывать сына. Всю жизнь она моталась по партийным командировкам. 1937 год застал ее на партийной работе в Донецкой области. Я спрашивала Тоню о судебных процессах, ведь пережила она их еще на воле. Тоня сказала:

— Я могу сказать только, как я пережила их. В 1936 году был первый процесс. Тогда я ненавидела врагов народа, партии, изменивших Родине и революции, продавшихся капиталистам. Я безгранично верила ЦК и органам государственной безопасности. Аресты все новых и новых людей страшили и радовали. Мы выявляли врагов. Но когда арестовали работников нашего обкома, наших прямых руководителей, мы растерялись. Как это могло случиться, что ни я, ни мои товарищи не почувствовали, не заметили предательства в руководстве... Я вместе со всеми требовала смертной казни. Я шла к женщинам-работницам и разъясняла им настоятельную необходимость беспощадной борьбы. Не успели мы

опомниться, как арестовали руководящих работников нашего райкома. Это были люди, с которыми я работала рядом. Среди них были мои близкие друзья. С ними я прошла много дорог революции. С ними я пережила первые процессы. Мне казалось, я теряю рассудок. Все оказались предателями... Я не знала, кому и чему верить, если эти люди предали. Я металась, я не жила. Я бы, наверное, сошла с ума, но, к счастью, меня арестовали. Сперва при аресте я подумала, что меня оклеветали предатели, и не сомневалась, что следствие выяснит мою невиновность.

На первом же допросе следователь не стал ни в чем разбираться. Его ничто не интересовало. Он предложил мне подписать показания, в которых не было ни слова правды. Он требовал от меня клеветы, лжи. Я не хочу говорить, как велся допрос. Он велся, как у других. Но случилось так, что весь этот кошмар спас меня. Спас, потому что я поняла, что мои друзья не были предателями. Ведь о себе-то я знала точно, знала твердо. Ведь я-то в своей работе руководствовалась директивами ЦК.

— Вы подписали показания? — спросила я.

— Нет, — она отрицательно покачала головой.

— А вас били?

— Об этом я не хочу говорить. Я не понимаю, что случилось, как случилось, что могли означать все эти ужасы. И, что ужасней того, что я пережила?!! Следователь сказал мне, что я коммунистка, и партия требует от меня подписи. Я не подписала. Мой сын, мои родные, друзья считают меня врагом народа. Ведь я до ареста сама так думала о других.

Вагон шел медленно. Вечером надзор проводил поверку. Стуком деревянного молотка в дверь вагона он предупреждал нас о ней. Тогда нас загоняли всех в одну половину вагона и, пересчитывая поштучно, с руганью, грубо перегоняли в другую.

Никто не говорил нам, куда нас везут. Но мы знали, что поезд движется на восток. Раз в день нам давали отвратительную похлебку. В вагон втискивали бак с тепловатой, напоминающей помои жижей. И выдавали по триста граммов хлеба. Раз в день нам приносили бачок с водой. На каждую заключенную приходилось по пол-литра.. Хочешь — умывайся, хочешь — пей. Чтобы скоротать время, женщины затеяли чтение наизусть стихов и поэм. Удивительной чтицей оказалась Женя Гинзбург. Молодая красивая брюнетка, — кажется, сотрудник Казанского университета, — она обладала изумительной памятью. От слова до слова с большим мастерством читала она нам всего «Евгения Онегина», всю «Полтаву», всего «Медного всадника», всё «Горе от ума». Ее чтение подслушал надзор. Войдя в вагон, он потребовал выдачи книг. Уверениям, что книг нет, он не поверил. Дико ругаясь, обшарил весь вагон, но книги, конечно, не нашел.

Большинство женщин нашего вагона были коммунистки, взятые с руководящих постов. Ни одна не признавала себя виновной, но и ни одна не возмущалась, не протестовала. Все они, моля, просили и ходатайствовали о пересмотре своего дела. Они знали про себя и не верили другим.

Поезд наш двигался очень медленно. Часто останавливался на станциях и полустанках. Пока поезд

шел, мы могли говорить друг с другом. На остановках надзор требовал абсолютной тишины. Малейшее громко сказанное слово вызывало не окрик, а стук молотком в стену.

Недели через две пути, на одной из остановок, — кажется, это был Новосибирск, — нам велели выйти из вагона и построиться по пять человек в ряд. Собачий лай морозом пробегал по коже. Каждую держал на поводке надзиратель.

— Смотрите, смотрите, — сказала мне соседка, глазами указывая на вагоны.

Мелом, размашисто на стенках товарных вагонов было написано: КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ.

Такая надпись на нашем вагоне, такая же на следующем... Состав был большой. Неужели во всех вагонах — арестанты?

Так вот почему надзор не окликал нас, а бил молотком в стены! Вот почему нам запрещалось вести разговоры на остановках, приближаться к маленьким отверстиям под крышей вагона, заменявшим окна. Всё продумано, всё взвешено. Везут на север состав за составом — крупный рогатый скот.

На меня эта надпись не произвела впечатления, но мои соседки были подавлены.

Когда мы построились, раздалась новая команда:

— Три шага вперед. Стоять молча, не оглядываться.

Оглядываясь или не оглядываясь, но мы видели, что открылись двери соседнего вагона. Из него вышли женщины в арестантской одежде. Потом открылись двери третьего вагона. Снова женщины.

Когда все три вагона построились, началась поименная перекличка. К перекличке мы, конечно, прислушивались. Всё как и в нашем вагоне. Те же

сроки, те же статьи. И вдруг я услышала — Лобыцина Надежда Александровна. Срок десять лет, ст. 58-8 через 17.

Много хлопот надзору с женщинами. Как бы они ни боялись, как бы ни дрожали от страха перед конвоем — со штыками наперевес, собаками, окриками — заставить их держать строй почти невозможно. Через каждые 10-15 шагов строй ломался. Конвой ежеминутно останавливал колонну, ежеминутно повторял: «Шаг влево, шаг вправо рассматривается как попытка к бегству. Стреляем без предупреждения».

Жены своих мужей

Женщины жались друг к другу, как испуганные овцы, а строй ломался. В общей сумятице, толкотне я отставала и отставала, но сколько ни оглядывалась, я не могла разглядеть, узнать в колонне второго вагона Надю.

С многочисленными остановками, под крики надзора и лай собак дошли мы до какого-то высокого забора. С перекличкой запустили нас через широкий двор в огромное пустое помещение. Вторая перекличка, и опять переход. Нас завели в огромную баню. В помещении ко мне сразу протянулись сквозь толпу три женщины.

— Вы не узнаете меня, а я вас сразу узнала, — сказала одна.

Я вглядывалась. Что-то знакомое было в стоящей передо мной изнуренной, истощенной женщине. Пышная рыжеватость волос, глаза... Нади... Неузнаваемая, но все-таки Надя.

Галю Затмилову, жену левого эсера Павлова, я не знала. Не знала я и Лену, жену эсера Новикова. Все три были беспартийными, жены своих мужей, не больше.

И сразу же, тут же в предбаннике, они спешно рассказывали мне об уфимском процессе. Вся уфимская ссылка, где жили они с мужьями, была арестована. Был создан вымышленный процесс. О мужчинах они ничего не знали. Их, женщин, допрашивали, — вернее, их принуждали давать ложные показания. Их вызывали по одной в зал суда, где заседала тройка, и зачитывали приговор. Десять лет тюрьмы и пять поражения в правах. Все трое они говорили одновременно. Хотели что-то сообщить, о чем-то спросить...

Галя Затмилова была раньше комсомолкой. В Уфе она познакомилась со своим будущим мужем, левым эсером, и от комсомола отошла. Настроена она была очень лево, и очень взвинчена и возбуждена, и понять из ее рассказа я ничего не могла. Они что-то говорили мне об Ирине Константиновне Коховской, арестованной по тому же уфимскому делу, о Марии Спиридоновой.

Лена Новикова, маленькая, худенькая, вся сморщенная от истощения и болезни, тихонько стояла рядом и тяжело дышала. Ее муж был арестован за несколько дней до нее. Дома осталась малолетняя дочка.

Конечно, ни Надя, ни Лена, ни Галя не подписали ложных показаний. Они точно знали от мужей, что никакой подпольной работы в уфимской ссылке не велось. Все они испытали в тюрьме приемы следствия тех лет. Если так обращались с беспартий-

ными женщинами, то что должны были пережить их мужья...

Женщины очень обрадовались встрече со мной. Их тяготила окружающая среда коммунисток, оправдывавших все происходящее, где каждая утверждала свою невиновность, непричастность к совершаемым кем-то злодеяниям.

В сумятице, в толчее предбанника под окрики надзора: «Раздевайся. Вещи сдавай», я ничего не могла ни понять, ни осмыслить.

В присутствии мужского надзора женщины разделись, нанизали свои одежды на круглые металлические кольца и сдали их для прожарки. Банная обслуга выделила каждой женщине крохотный кусочек мыла. Надзиратели, выбритые, вымуштрованные, одетые тщательно в военную форму, выстроили голых женщин в шеренгу и приказали им идти вперед по одной. В дверях стоял конвоир. Указывая пальцем, он считал каждую: «раз, два, три...». За дверями шел коридор. Вдоль всего коридора шеренгой стояли надзиратели. Мимо них вереницей шли женщины. Будто нарочно, на стене висело огромное зеркало. В нем отражалась вся картина: строй надзора и вереница голых женщин.

Женщины потуплялись, сжимались от унижения. Но кто же был унижен? Голые арестантки или охраняющий их надзор?

И все же огромное большинство арестанток дрожало с головы до ног, глаза их были полны слез:

— Мы больше не люди, мы хуже скота.

Я же смотрела на телохранителей наших и думала, — люди ли они? и пославшие их?

Баня изумительная, роскошная. Она была разделена перегородками на массу маленьких кабин. В

каждой кабине душ, таз, в двери вмонтировано зеркало. Как хороша вода после двухнедельного пребывания в душном и тесном вонючем вагоне. Намылиться и стать под душ. Это ли не блаженство?

Но внезапно поступление воды прекратилось. Пять минут, положенные на мытье, истекли. Мылом вспенены волосы, в мыле все тело. Кого это интересует? Дана команда. Вода перекрыта. Одевайся и выходи.

Мы стирали полотенцами мыло. Волосы слипались, клейкие от грязи. В раздевалке мы получили свое же грязное белье. Оно было еще теплым от прожарки. Чье-то кольцо с одеждой затерялось, чье-то свалилось на пол в лужу. По нему прошли чьи-то ноги... Окрики, ругань, угрозы...

И снова строй. Снова мы загнаны в вагон. Я снова лежу на нарах, вытянувшись в струну, сжатая между соседями. Мысли... Разгадать бы загадку. Надя, Галя, Лена... Тяжкие преступницы. Что с мужчинами, если так гонят их ни в чем не повинных жен?

Мне страшно жить среди этих людей

В вагоне начинаются заболевания. В основном, на почве истощения. Женя Гинзбург декламирует «Мцыри», Маруся И. читает Маяковского. На остановках мы замолкаем. Но на ходу поезда, чтобы подбодрить себя, заключенные составляют хор. Кто-то предлагает спеть «Интернационал». Возмущенные реплики: «Как можно? Мы заключенные, мы не имеем права». И вдруг кто-то запевает «Широка

страна моя родная...» Я вздрагиваю, приподнимаюсь на нарах. Что это? Фарс или издевательство? А хор подхватывает и по всему арестантскому вагону звучат слова: «Где так вольно дышит человек». Я ничего не понимаю. Я смотрю на поющих женщин. Только что их голых прогнали сквозь строй мужского надзора. Запертых в арестантском вагоне, их везут, как крупный рогатый скот... «Широка страна моя родная»... Где же предел человеческой подлости или глупости? Наверное, я-таки ихтиозавр. Или еще какое-нибудь доисторическое животное.

С противоположной полки смотрит на меня Р. У нее умное лицо, острые насмешливые глаза. Она шепчет Зине: «Все это было бы так грустно, когда бы не было смешно».

Неожиданно на верхних нарах начинается истерика. Я ненавижу истерики, но на этот раз, по крайней мере, хор смолкает.

Кто же окружает меня? Кто эти несчастные женщины? Лучшие ли это люди партии? Или отбросы, балласт? За что и почему? Кому понадобилась такая их участь?

Скоро месяц, как мы на этапе. Всех нас шатает, — кружится голова. Раз начавшиеся, месячные кровотечения у женщин не останавливаются. Нет воды, нет смены белья. Нет даже просто лишней тряпочки. Рубашки, бюстгальтеры — все разрывается на бинты.

Чем дальше мы едем на восток, тем упорней идет разговор о Колыме. О ней слышали на воле, о ней рассказывали ужасы. Мне не страшны ужасы Колымы. Мне страшно жить среди этих людей.

Владивосток. Пересыльный лагерь

Поезд прибыл во Владивосток. Какое счастье вырваться из вагона. Воздух, небо, деревья, трава зеленая... Нас всех шатает. С трудом, поддерживая друг друга, идем мы к женской пересыльной зоне лагеря. Вокруг все необычно, — сопки, деревья, море. Я вспоминаю японские и китайские рисунки, виденные на шкатулках, на открытках, в книгах. Раньше они казались мне декадентством, теперь мне кажется, я начинаю понимать восточную живопись. Какая красота, воздушность, прозрачность! Сил нет, а хочется идти дальше. Но впереди опять тюрьма, опять решетка.

Мы идем теперь уже не по-вагонно. В нашей пятерке Надя, Галя, Лена, Люся и я. Мы четверо еще держимся. Но Лена еле передвигает ноги. Мы ведем ее под руки. У Лены — порок сердца.

Я ошиблась. Нас ждала не тюрьма, а нечто худшее: высокий деревянный забор; вышки караульных; вокруг колючая проволока.

Женская зона состояла из нескольких длинных, сколоченных из досок, бараков. В бараках — сплошные нары в два яруса. Зона была почти пуста. Недавно отошел пароход на Колыму, с ним были вывезены все заключенные. Со следующим пароходом отправят на Колыму нас. Пароход идет обычно раз в две, в три недели. В бараке мы застали нескольких женщин. Две из них прибыли с последним пароходом с Колымы. Их рассказы нас очень интересовали, но мы смертельно устали. Мы не легли, мы свалились на нары. Мы еле поднялись по звону колокола на ужин. В зону въехала походная кухня, — огромный котел с тюремной баландой. С мис-

ками в руках выстроились в очередь заключенные. Каждый из нас получил по пол-литра жидкой мучной жижи, в которой плавали редкие, круто затертые галушки. Мука слегка подгорела. Суп был равно отвратительный на вкус, на цвет и на запах.

На пересылке мы пробыли около двух недель. Дважды в сутки, утром и вечером нас кормили этой похлебкой. В зоне был ларек. За свои деньги заключенные могли покупать продукты. У нас пятерых денег не было. Мы сидели на баланде. В бараках было не очень темно, не очень грязно. Мы были предоставлены самим себе. Надзор, в основном, был за колючей проволокой. Мы могли выходить из барака, ходить по дворику зоны. После месяца, проведенного в вагоне, после Ярославской тюрьмы это было уже не мало. Оказалось, что наш этап был составлен из женщин, сидевших в Ярославской, Казанской и Суздальской тюрьмах. Последнее меня поразило. Если в Суздале была женская тюрьма, то мужчин куда-то вывезли. Куда? Где теперь Шура? Где товарищи? Что с ними?

Мы узнали, что забор отделяет мужскую зону от женской. Снестись с мужчинами стало моей заветной целью. Среди женщин я не встретила своих товарищей, может быть, среди мужчин окажутся друзья?

Галя, Лена, Надя, Люся и я — все мы хотели хоть что-нибудь узнать о мужчинах. Там ведь могли быть наши друзья или люди, слышавшие о них. Способа связаться с мужчинами тайно не было. И я просто, проходя мимо забора мужской зоны, прокричала несколько раз:

— Товарищи, в женской зоне есть социалисты, нет ли социалистов у вас?

— Узнаем, — ответил мужской голос.

Я и Надя нетерпеливо ходили вдоль забора. И нам ответили:

— Здесь есть два социалиста-сиониста и левый эсер Самохвалов.

— Позовите Самохвалова, — крикнула я:

Я хорошо знала Михаила — он был старостой левых эсеров на Соловках.

— Я— Самохвалов. Кто вы.

Я назвала себя, Надю, Галю.

— Вы ничего не слышали про мою жену Веру? — спросил он.

— Нет. А вы про Шуру и Петю?

— Тоже нет. Ждите записку.

Сквозь щели забора Михаил передал нам записку. Мы просунули ему записку в ответ. Мы взаимно просили при встрече с друзьями передать о нас. Договоривались на Колыме разыскать друг друга.

Узнав, что едем без белья, без вещей, без постельных принадлежностей, мужчины прямо через забор перекинули нам пару смен мужского белья, полотенец, наволочек и даже подушку. Назавтра мы условились снова обменяться письмами, но ночью мужской этап ушел на Колыму.

О Михаиле Самохвалове я узнала только семь лет спустя. Он умер на Колыме от истощения, кажется, в 1942 году.

Мужчины за забором откликнулись на мой вызов. Они позвали Самохвалова. Не так реагировали женщины нашего этапа. Крик наш через забор, вызов социалистов, разговор с ними — возмутил женщин.

Против нас возник целый заговор. Возглавляли его Мария Крутикова и Лиза Котик. Не взяли бы

на следующий день Михаила на этап, не знаю, чем бы все кончилось. Женщины решили не дать нам осуществить преступную связь. Они считали, что я подвожу всех, навлекаю на всех угрозу репрессий.

Мария Крутикова была директором какого-то завода в Ленинграде. К никакой оппозиции она никогда не принадлежала. Считала себя самым верным и преданным сторонником ЦК, была страстной поклонницей Сталина. Педантично и сухо, как вообще было в ее характере, соблюдала она все директивы партии. О том, как протекал ее процесс, она никому не говорила. Она знала, что произошла ужасная ошибка, писала прошение о пересмотре дела. На воле, в Ленинграде у нее остался сын. Сын ее будет расти в сознании того, что мать его — заклятый враг народа. Родные отреклись от нее, и они правы. Она сама отреклась бы от каждого, осужденного советским судом. Родные верят партии, значит, они не могут поверить ей. Мария попала в среду врагов народа. Они, как и она, отрицают свою вину, но кому она должна верить — партии или им? Кому можно верить, кроме себя самой и партии? Теперь Мария столкнулась с этой, враждебной ей, средой врагов народа, врагов подлинных.

Сидя на пороге арестантского барака и злобно глядя на меня, Мария говорила:

— Вот кто — причина наших бед.

Котик ей вторила:

— Если бы я могла, я собственными руками задушила бы социалистических гадов.

Мария Крутикова говорила, что, даже отбыв срок, она не вернется домой. Она и не вернулась. В 1949 году она покончила с собой.

Когда я слушала рассказы о следствиях 1938-1939 годов, о требовании следователей подписывать вымышленные протоколы, о методах допроса с побоями, карцерами, пытками, о диких обвинениях в терроре и вредительстве, я ничего не понимала, кроме разве того, что понадобилось уничтожить малейшую тень оппозиции. Правителям понадобилось уничтожить свидетелей русской революции, свидетелей всех лет борьбы. Для меня все происходящее казалось логическим следствием принятых раньше установок.

Если человеческая мысль взята в шоры и мыслить разрешается лишь по определенной указке, все инакомыслящие преследуются законом, если вслед за эсерами в ссылки и тюрьмы попали социал-демократы, затем анархисты, леваки, оппозиционеры, то круг преследуемых должен был расширяться. А круг угнетателей — сужаться. Как пуганые вороны, должны, в конце концов, пугаться гонители того куста, на котором сидят.

Иногда во мне поднималось даже чувство злорадства по отношению к окружавшим меня коммунисткам. Они ведь попали в яму, вырытую для других. Они одобряли в свое время, да и сейчас одобряют, гонение за мысль, за слово, за убеждение. Они рукоплескали смертным приговорам своим бывшим вождям.

Что перенесло русское темное крестьянство за эти годы? Кто шел по этапам, когда они руководили жизнью страны?

Злорадство мое умерялось чувством жалости: лежачего не бьют.

Но за долгие годы, прожитые в бараке, мне пришлось встретить всего несколько человек, вызвавших мое уважение.



Беда обрушилась на этап неожиданно. Вечером, едва наступили сумерки, Верочка, моя соседка по камере, ослепла. За нею ослепла Маша. Обе они вышли из барака на вечернюю проверку и не смогли вернуться в барак. Их привели другие.

Нас охватил ужас. Слепота распространялась. Одна за другой женщины теряли зрение. «Врача, врача!»

Слепота охватила почти всех заключенных. Вечерами, в сумерки, зрячие водили слепых. Поводырей становилось все меньше. Я потеряла зрение одной из последних.

Наконец, на наше счастье, амбулатория достала где-то рыбий жир. Я выздоровела после первой же принятой ложки жира.

Три дня отдыхали мы во Владивостоке. Валялись на нарах, толкались по дворику, слушали бесконечные рассказы о Колыме, где, как пелось в песне: ...«двенадцать месяцев зима, остальные — лето». Девушки с Колымы рассказывали нам, как в бараках замерзают заключенные и по утрам их оттаскивают на подводы. Скрюченные трупы везут к оврагу и сваливают в него. Засыпать землей необязательно. Вечная мерзлота. Заполненные трупами овраги только притрушивают землею. Без суда и следствия, по воле начальников лагерей, сидят зэки в карцерах, их расстреливают. Политические и уголовные содержатся в одних и тех же бараках. Для женщин страшно — страшней режима — насилование. Жен-

щины всегда должны быть настороже, держаться скопом.

Уйти от страшных толков было некуда. Женщины мечтали о выходе на работу, о каком-нибудь занятии. Честным трудом хотели они доказать свою преданность советской власти. На четвертый день нас и выгнали на работу. Недалеко от зоны лагеря находилась большая огороженная площадь. На голой земле лежали большие кучи гальки. Рядом стояли большие тяжелые тачки. Женщинам выдали тяжелые подборочные лопаты, кайла и носилки. Нам велели грузить тачки галькой и перевозить к забору. Работа была очень тяжелая. Ослабленные и тюрьмой и этапом женщины изнемогали. Норм не было, но люди рвались к работе сами. Огромное большинство в нашем этапе были люди умственного труда, многие никогда не держали в руках ни кайла, ни подборочной лопаты. Носилки, на которых лежала куча гальки, прижимали женщин к земле. К концу рабочего дня результаты труда были совсем незаметны.

Ночью женщины стонали от боли в руках, ногах, поясницах.

Полное отчаяние наступило у арестанток на следующее утро, когда заключенным было предложено ту же кучу гальки, которую они перенесли вчера, снести на прежнее место. Часть женщин возмущенно отбросила лопаты в сторону. Часть не работала, держа инструменты в руках. Но большинство продолжало работать из последних сил. Запомнилась мне фигура одной 50-летней еврейской женщины, бухгалтера по специальности. Маленького роста, сгорбившаяся, она сжимала своими маленькими руками ручку кайла. Пальцы ее еле охватывали эту

ручку. Держала она ее не за конец, а возле самого кайла. Как курица, чуть поднимая кайло от земли, копала она кучу. Из глаз ее текли слезы. поднять носилки она не могла вовсе, совсем уж не могла подвести лопату под кучу гравия.

Убедившись в бессмысленности заданной нам работы, я и еще кто-то, стоя в стороне, смотрели на происходящее. Никаких неприятных последствий за «отказ от работы» не последовало, если не считать угроз и окриков конвоя. Большинство же, огромное большинство, со слезами на глазах, закусив губы, хмуро глядя под ноги, кайлили, грузили, переносили гальку из одной кучи в другую, и обратно. Кто-то сказал, что работу дают нам из медицинских (гуманных) соображений: физический труд необходим для сохранения здоровья.

Наш этап прибыл во Владивосток летом, когда курсировали пароходы. Партию за партией заключенных перевозили на Колыму. Из рассказов женщин, работающих в зоне, мы узнали, что не так было зимой, когда навигация была закрыта, когда приезжающие эшелонами заключенные дожидались здесь открытия навигации.

Зимой 1938-1939 годов в зоне свирепствовала страшная эпидемия сыпняка.

Когда мы ослепли, нас стали водить на прием к врачу в амбулаторию.

— У вас нет сестры в лагере? У нас во время операции работала сестрой Олицкая. Ее вывезли этапом на Колыму.

У меня мелькнула мысль: «Надя... На Колыме мы с нею встретимся!» Скорее бы этап. Встреча с Надей стала для меня необходимостью. Черной овцой среди белых чувствовала я себя в этом стаде. Я знала,

почему и за что я сижу. Я не принимала строя общественной жизни там, за решеткой. Вокруг меня были матерые преступницы, изменницы Родины, совершившие страшные вредительские акты, террористки, подготовлявшие убийства, если судить по приговорам; на самом деле, я — нераскаявшийся противник среди безвинно осужденных активных борцов за существующий строй. Над ними тяготели страшные преступления, а они опасались общения со мной, дабы не скомпрометировать себя общением с врагом народа. Никогда во время следствия меня не били, не истязали, я спокойно отказывалась от дачи показаний.

Что же произошло на воле?

На нарах надо мной лежит молодая женщина. Она беспартийная, она — КВЖДистка и статья у нее ПШ. Я прошу ее расшифровать, я не понимаю, какое преступление скрывается за этими буквами. Женщина начинает рассказ издалека.

Ее отец работал на Китайско-Восточной железной дороге. Вся семья жила с ними в Китае. Когда дорога была передана Китаю, всех сотрудников вывезли в Советский Союз. Ей было 17 лет. Семья поселилась в Москве. Отец работал. Потом родители ее умерли, она стала работать машинисткой. А в 1938 году ее арестовали и предъявили обвинение в шпионаже в пользу Китая.

— Я с выезда из Китая ни одного китайца в глаза не видела, ни одного письма оттуда не получила. И вдруг... шпионаж — восемь лет тюрьмы и пять поражения. Со мной вместе были арестованы сестра и брат. Сестра умерла на этапе, что с братом — не знаю.

Глаза ее тупо смотрели в одну точку.

— Что же означает ваша статья ПШ?

— Как же вы не понимаете? Подозрение в шпионаже. Ведь материала для обвинения в шпионаже нет.

— Вы получили восемь лет тюрьмы, потому что вас подозревают в шпионаже?

— Да. А вот Ася, — она показывает мне на очень красивую 20-летнюю девушку, — у нее 58 статья, 6-ой пункт. Шпионаж. Она получила 20 лет и 5 поражения.

На пароходе на Колыму

Арестантки боялись Колымы, боялись появления пароходов, — и все-таки ждали их с нетерпением. Самое страшное в тюремной жизни — этап. Он сгружает людей в кучу, гонит, понукает, окрикивает... Грязь. Плохое питание. Жажда. В рваных затасканных одежонках валяются заключенные на нарах, на полу, в битком набитых пересыльных камерах или арестантских вагонах. Этапный паек всегда хуже тюремного, воды не хватает не только на умывание — о нем и речи нет — на питание. В тюрьмах есть хоть какие-то правила, на этапе — произвол конвоя, грубые окрики, «Шаг влево, шаг вправо рассматривается, как попытка к бегству. Применяется оружие. Смерть на месте». Сколько людей ни за что, ни про что погибало на этапах.

Единственное благо этапа — встречи с новыми людьми, с арестантами других камер, других тюрем. Вести от арестантов, идущих с воли... Все эти блага ощущаются тогда, когда этап составляется медленно, когда в него вливаются новые партии арестантов. Наш этап пережил это, когда нас вывели из одиноч-

ных камер Ярославской тюрьмы, когда объединили женщин Ярославской и Суздальской тюрем. Месяц в теплушке товарного вагона, три недели на пересылке во Владивостоке, психологическое утомление и физическое изнурение, кое у кого желание снестись с родными, дать весть о себе, получить весть о них, наконец, желание знать, что же ждет нас впереди, заставляло нетерпеливо ждать отправки.

Весть о том, что пароход с Колымы вернулся, что в ближайшие дни нас будут вывозить, взбудоражила всех.

Огромный трюм парохода был разделен на две части. Большую из них загрузили женщинами, в меньшую — еще плотней — набили мужчин. Наш трюм был разгорожен на клетки. От пола до потолка шли досчатые настилы в четыре яруса. В середине трюма был узенький проход к лестнице на палубу. Вход в трюм был плотно закрыт. Конвоя в трюме не было.

Чтобы уместиться арестантки должны были по мере погрузки залезать и ложиться на нары. Надя, Галя, Лена и я зашли в трюм почти последними. Нам достались нижние места недалеко от входа, прямо на полу. Внизу было не так душно, но мимо наших голов все время шныряли чьи-то ноги, подолы чьих-то юбок.

В море было тихо. Пароход шел почти не покачиваясь.

Сразу после погрузки в трюм нам принесли еду. Я помню большие толстые матросские сухари; ничего более вкусного мы давно не ели. Дали нам и суп, ничем не напоминавший тюремную баланду. Женщины твердили, что нас так хорошо кормят потому, что иначе не выдержать морской болезни.

Нашему этапу повезло с погодой. Пароход шел тихо. Но люк был закрыт, свежий воздух в трюм не поступал. Нас было в трюме человек 250, дышать стало нечем. Женщины начали стучать, требуя открыть люк. Люк не открывался, часовой стучал прикладом в крышку, требуя тишины. Потом он приоткрыл люк на узенькую щель, грубыми окриками и громыханием затвора отогнав женщин от люка, он крикнул, что, пока пароход не выйдет в открытый океан, люк будет закрыт.

К счастью, с нами не было женщин-уголовниц. Поэтому не было ни ругани, ни драк, ни споров. Все как одна, мы старались держаться, помочь друг другу. Но чем мы могли помочь, когда не хватало воздуха? У многих началась рвота. Рвота с верхних нар стекала на соседние вниз. Весь пароход стал вонючим и скользким. Мы держались до тех пор, пока одна из женщин не начала биться в истерическом припадке, может быть, то была эпилепсия, и ее соседка не упала с верхних нар. Трюм превратился в ад. Со всех сторон неслись крики, вопли: «За что? За что?» Упавшая на пол, лежала без движения. Она лишилась сознания. Тогда мы ошалели. Несколько человек, еще державшихся на ногах, кинулись к люку. Мы били в него сперва руками, потом снятой с ног обувью. Мы требовали врача.

На этот раз врач явился. Двух больных женщин вынесли на палубу и отнесли в больницу. В люке была оставлена узкая щель. По пять человек заключенных по очереди стали выпускать на десять минут на палубу.

Когда пароход миновал Японские острова, люк нашего трюма совсем открыли. Нам разрешили выходить на палубу и в уборную по очереди маленькими

группками. Выходя на палубу, мы видели, что люк мужского трюма закрыт наглухо. Мы слышали стуки и крики мужчин.

Наш рейс был удачным. Мы добрались до Магадана в пять суток.

Люся, заболевшая и отставшая от этапа, приехала следующим пароходом через три недели. Везли ее на пароходе «Джурма». Ей не повезло: штормило и пароход шел девять дней. В проливе, неподалеку от Японских островов на пароходе возник пожар. Потом говорили, что уголовные разобрали стену в трюме, проникли в каптерку, разграбили ее и подожгли. Люся рассказывала нам, как дымом заволакивало трюм, как метались они, задыхаясь, не понимая, что происходит. Горящий пароход увидели японские суда. Они подошли к «Джурме», предлагая помощь. Капитан «Джурмы» отказался и вывел горящий пароход в открытое море. Когда японские суда удалились, женщин вывели из трюма на палубу. Мужской трюм так и не открыли. Трупы задохшихся от дыма были выброшены за борт. Сколько было человеческих жертв мы не узнали.

Около двух месяцев работали в Магадане зэки на переборке обгоревших ящиков с продовольствием. Все обгоревшие, задымленные продукты, негодные к употреблению вольным, были отданы в каптерку лагеря. В лагерной столовой мы стали получать забракованное печенье, пряники и другие продукты. Медицинская экспертиза постановила — при незначительном потреблении отравления не произойдет.

Переход до зоны был длинен. Сколько ни бился наш конвой, сколько ни грозил штыками и прикладами, сколько ни лаяли бегавшие кругом овчарки, построить этап конвойным не удалось. Люди не шли —

шатались. Через каждые 50-100 шагов строй останавливался, подтягивались отставшие, равнялись ряды, пересчитывались пятерки. Измученные, спотыкающиеся, шли мы и все-таки чувствовали изумительный воздух, видели природу, суровую и величественную. Сопки, холмы, сопки, а в отдалении — горные хребты... Идти бы так, и пусть пересылка будет дальше, как можно дальше.

Была ли то пересылка? Низкие помещения; мы свалились прямо на пол, положив под голову кулаки, или облокотившись друг на друга. Этапные мытарства еще не были закончены. Предстоял прием этапа. Предстояла баня. Тогда уже — в зону лагеря.

14. НА КОЛЫМЕ

Мне трудно, почти невозможно было понять психологию арестанток моего этапа. Правоверные коммунистки, оправдывающие все сущее, кроме своего ареста, конечно, очень тяжело реагировали на происходящее с ними. Может быть, только на словах они не осуждали происходящего, не выражали протеста. Лучшие из лучших твердили о том, что там в центре не знают о происходящем на местах, о методах следствия, о произволах на этапе. Они ощущали болезненно, остро свой позор, стыдились самих себя. Я не понимала, как можно стыдиться ложного обвинения, а не возмущаться им, просить о пересмотре своего дела, а не требовать его. Ведь передо мной не обыватели, передо мной борцы за счастье народа, борцы за справедливость, члены самой передовой, самой непреклонной партии мира.

Я не понимала женщин моего этапа.

Нас привели в баню. Блаженство — сбросить с себя потное и грязное белье. В одну кучу приказали нам сложить все наше арестантское белье и обувь. Каждой из нас дали по кусочку мыла со спичечную коробку и запустили в баню. Баня была просторная, с деревянными лавками, чанами и шайками. Никто нас не торопил. Воды мы брали — сколько хотели. Банщицы были ласковы и приветливы. Не сразу мы поняли, что банщицы — это мы сами, зэки, отбывающие сроки в лагерях. Только крепче, здоровее

нас были они. Они не получили тюрем, они по приговору получили лагеря и сразу проследовали этапом на Колыму. Все прелести этапа они пережили, но вошли в него не изнуренные тюрьмой, сразу же после двух-трех месяцев следствия. Следствие и у них было тяжелое, но они успели уже оправиться от пережитого.

В бане было хорошо, в раздевалке сразу стало плохо. В тюрьмах мы не подвергались санобработке. Санобработка стала первой «прелестью» лагерной жизни. Вымывшихся женщин осматривали на вшивость. Женщинам сбривали волосы на всех частях тела. Вшивости в нашем этапе не было. Косы свои женщины нашего этапа отстояли. Кажется, в первый раз я услышала вопли протеста. Женщины остаются женщинами. Отчаяние их перешло в бурную радость, когда они стали получать одежду. Каждая получала комплект. Трусы, бюстгальтер, рубашка, платье, пара чулок и обувь. Первого сорта были все эти вещи. А платья были нетюремного образца — разноцветные: красные, синие, зеленые, — в клеточку, в полоску, в цветочках... Выстроившись в очередь за комплектами, женщины загляделись на платья. Они высматривали, высчитывали в груде комплектов, какой достанется. Одни мечтали о синих, другие — о красных. По получении комплектов, сразу же начался обмен. В одевалке шла примерка платьев, строили планы на перешивку.

Не выдали нам резинок. Нужно укрепить чулки, но как? Ведь мы были голы, у нас не было ни одной тряпочки, ни одной завязочки. Обувь принесла горе. Нам выдали огромные тяжелые бутсы, всем — одного размера. Шнурков в них также не было. При каждом шаге опускались чулки и хлопали на ногах

бутсы. Приветливые банщицы успокаивали нас — в лагере все обойдется.

Женская зона Магаданского лагпункта

Строем в пять человек в ряду стояли мы теперь перед воротами женской зоны Магаданского лагпункта. Деревянный частокол, в несколько рядов колючая проволока, по углам — вышки с постовыми. Большие деревянные ворота, у ворот — вахта. Через открытые ворота мы видели большой двор, во дворе в отдалении толпились женщины-заключенные, глазели на нас. По обе стороны двора, как по улице, стояли невысокие деревянные бараки.

Из калитки ворот вышло лагерное начальство. Опять равнение строя, опять поименная перекличка: имя, отчество, фамилия, год рождения, место рождения, национальность, статья, срок — проходи в зону.

По одной отделялись мы от строя и проходили в ворота лагеря, и каждой из нас вахтер бросал:

— Проходи в самый последний барак.

По одной проходили мы и к бараку. Лагерницы сочувственно смотрели на нас, но не подходили, не заговаривали. Бог знает, какими путями узнали они о прибытии тюрзаковского этапа. Для нас освободили целый барак, — самый плохой барак в зоне. Тюрзачек пошлют на самые тяжелые подконвойные работы. У тюрзачек грозные статьи и длинные сроки заключения.

С нашим этапом прибыло распоряжение: в связи с ослабленностью зэков в течение 21-го дня за зону

на работу не выводить, кормить — вне нормы питания.

Лагерницы всматриваются в наши лица, прислушиваются к называемым фамилиям. Может быть, прибыла с этапом знакомая, может быть, прибыл кто из родного города. Вероятно, вид у нас и правда измученный. У многих лагерниц на глазах блестят слезы. Себя мы не видели, к лицам своих соэтапниц привыкли, мы не замечали ничего особенного.

Лагерницы объяснили нам потом свои слезы.

— Нам казалось, что входят мертвецы, кости, обтянутые кожей. Нет молодых, одни старухи.

Старый барак. Почерневшие от времени доски. Низкий, черный от копоти и времени потолок. Маленькие оконца плохо пропускают свет. Во всю длину барака, по обе стороны его, — столбы. К ним прибиты сплошные нары в два яруса. Посредине барака — железная бочка-печь и длинный стол.

Вызванные по списку, мы получили по одеялу, по наволочке, по полотенцу, по простыне. В глубине зоны у стога набили матрасовки и наволочки. Я все время думала об одном — где-то на Колыме находится Надя. И вдруг слышу звонкие голоса: «Кто из вас Олицкая? Где Олицкая?»

Спрашивают две молодые, оживленные женщины. Я поднимаюсь с нар. Они идут ко мне. Может быть, одна из них Надя? Тогда которая?

— Вы — родственница Надежды Витальевны, вы — Катя? — приветствуют они меня.

Эти женщины сдружились с Надей на этапе. Они сообщают мне, что Надю месяца два назад вывезли в глубину, в совхоз «Эльген». Они рассказывают мне, что во Владивостоке Наде сообщили, что ее

муж прошел этапом на Колыму. Через забор мужской зоны ей бросили камень с привязанной к нему запиской. Больше ничего узнать ей не удалось.

— Я могу написать Наде?

— Да-да, конечно, — отвечают девушки. — Мы научим вас, как послать письмо, чтобы дошло скорей. А сейчас мы забираем вас к себе в барак. Мы даем ужин в честь вашего приезда.

Я колеблюсь, я говорю, что я не одна, что со мной подруги, я не хочу и не могу оставить их одних в первые часы.

— Сколько вас? — спрашивают девушки. Они забирают нас четверых. Девушки отличались от нас так же, как отличался их барак от нашего. Барак их был с вагонной системой нар. Все нары были застланы стандартными суконными одеялами. Стол был покрыт белой простыней, всюду разложены белые вышитые салфеточки. Обе подруги одеты в черные юбки и белые размереженные блузочки. Жили они рядом на верхних нарах. Посреди нар была расстелена салфетка, на ней расставлено угощение. Хлеб, нарезанный ломтиками, кетовая икра, консервированные крабы, искусственный мед и сливочное масло, — что было куплено в лагерном ларьке, что получено в посылках из дома.

Зора Г. пришла в лагерь по делу анархистов сроком на пять лет. Ее товарка получила такой же срок, кажется, по делу троцкистов. В лагере они уже были около года, работали на посыльных работах, вырабатывали хорошую категорию питания. В общем, как-то приспособились к лагерной жизни. Обе они хотели подбодрить нас. Они старались говорить об отрадных сторонах лагерной жизни, умалчивая о мрачной стороне ее. Это им не очень удавалось, мало

радостного было вокруг. И все же они твердили — самое страшное позади.

— Вы счастливые, попали сюда по окончании «гаранинщины». 1938 год на Колыме был страшным годом.

*

Наш тюрзаковский этап действительно состоял из измученных, истощенных физически, ослабленных женщин. Даже начальство дало предписание кормить нас вне категории и не выпускать на работы три недели.

Мы жили в бараке. Ходить по другим баракам не разрешалось. И хотя правило это не соблюдалось, мы почти не ходили. Обещание начальника Ярославской тюрьмы не было выполнено, личных вещей мы не получили. Кроме лагерной одежды, у нас другой не было. Деньги у многих на лицевом счету были, и не малые, но по лагерным правилам заключенная могла получить в месяц 50 рублей. Первое время этой суммы не выдавали. У большинства же денег на счету не было. Из барака мы ходили в лагерную столовую завтракать, обедать и ужинать. Большое чистое помещение уставлено маленькими столиками, у входа в столовую каждая заключенная получала ложку, которую должна была сдать при выходе. В бараке иметь ложки не разрешалось.

Питание выдавалось по категориям от выработки. Категорий было три. Пол-литра супа получала каждая заключенная три раза в день. По третьей категории (для зэков, не выполнивших норму на 80%) кроме супа, выдавалось 300 грамм хлеба в сутки; по второй категории (зэки, выработавшие норму свы-

ше 80%) давали дополнительную кашу и 800 грамм хлеба; по первой категории (выработка 100%) заключенные получали на обед и ужин ту же кашу, что и по второй, и добавочную порцию макарон или вермишели, или манной каши в обед. Зэки, перевыполнявшие норму, получали первую категорию и булочку или хворост, или какое-либо иное «премблюдо».

Свежего мяса, свежих овощей, картофеля мы не получали. Чаще всего в меню входила соленая рыба. Кета вареная, кета соленая, горбуша казались нам изумительно вкусными. Старые лагерницы рыбу не брали, не ели — она им опротивела. Они, обычно, уступали ее нам. Мы поглощали все. В общем, мы сразу стали сыты, вернее, не голодали.

Поразило меня в жизни заключенных то, чего я никогда не встречала в пройденных мною раньше тюрьмах. В среде лагерниц, осужденных по политическим статьям, была развита торговля, как своими вещами, так и тюремным пайком. Когда-то арестанты-социалисты делились всем, ущемляя здоровых, поддерживая больных, осуществляли в тюрьме коммуну. Здесь было не так. Имевшие деньги покупали у неимущих все, что те могли продать. Продавались тюремные пайки сахара и хлеба, казенные вещи — чулки, простыни, платочки. Каждая лагерница жила сама по себе, жевала свою корочку хлеба с маслом или без масла, и не интересовалась, жует ли что-нибудь ее соседка. Удивительнее всего было для меня то, что уголовные — воровки и проститутки — были щедрее зэков политических.

С торговлей мы столкнулись сразу по прибытии в лагерь. Прибыв на место, каждая заключенная стремилась прежде всего послать весть родным. Нам

было разрешено послать письма и даже телеграммы. Те, у кого были деньги, слали, те, у кого денег не было, продавали, что могли, чтобы получить денег на марку. У нас пятерых не было ни денег, ни вещей. Продавать пайку хлеба своим же товаркам-заключенным было противно... Но... «с волками жить — по волчьи выть». От всех моих вещей у меня остались шерстяной вязаный шарфик и шерстяные перчатки. Галя взялась их продать, и мы смогли послать письма родным. Написала я письмо и Тасиной маме в Ленинград. Я быстро получила от нее ответ. О Тасе никаких вестей мать не имела. Каким милым было ее письмо. Попова предлагала мне помощь, спрашивала, можно ли послать посылку. Я не ответила ей, не хотела компрометировать ее перепиской со мной. Первое время в нашем бараке было больше продающих, чем покупающих. Женщины из Суздальской и Казанской тюрем сохранили свои личные вещи, они продавали их.

Я недоумевала: как могли лагерницы продавать свой паек, обходиться без него?

Среди бытовой и уголовной статьи проституция была очень распространена, но и среди 58 статьи процент нашедших себе покровителя и друга был достаточно велик.

Раньше на Колыму завозили только мужчин, потом появились и женщины. Но процент женщин был ничтожно мал. Женщина ценилась высоко. За обладание женщиной мужчины были готовы на любые преступления, нарушения. Женщин похищали, женщин насиловали и изувеченных бросали на трассе. Были случаи, когда женщин отбивали от конвоя и уводили на прииски, и там бросали толпе мужчин, становившихся в очередь. Почему-то такое

массовое насилование женщины получило название «трамвай».

Была среди нашего этапа совсем еще молоденькая немочка с Поволжья. Белокурая, голубоглазая, тоненькая, как былиночка. Обвинили ее в шпионаже, статья ПШ, срок не то восемь, не то десять лет. Мы с Лизой стояли в столовой. Полными ужаса глазами указала она мне на такую же юную девушку. Обе они молоды, но как не похожи друг на друга: у той, у другой, какой-то вызывающий, дерзкий, даже нахальный вид, а Лизочка — сама робость и скромность. «Трамвай», — шепчет Лиза.

Месяцем позже я познакомилась с Аней близко. Я работала с ней в одной бригаде. В 1938 году с обвинением по 58 статье она была привезена на Колыму. Уголовные проиграли девушку в карты. Проигравший должен был поймать ее и сдать товарищам. Аню заманили во время работы в укромный уголок, и тут же двенадцать человек во время работы «использовали» ее. Когда вечером стали собирать бригаду лагерниц, чтобы увезти в зону, Ани не оказалось. Ее стали искать и нашли растерзанную, полуживую. В лагерной больнице, к общему удивлению, она оправилась. Несколько раз она пыталась покончить с собой. Ее каждый раз спасали. Историю Ани знали все. Говорили, что она стала совершенно неузнаваемой. Я ее узнала уже спокойной, холодной, ко всему враждебной, презирающей и мужчин и женщин. Одевалась она вульгарно и крикливо, подкрашивала глаза, брови, губы. В лагерную столовую она заходила редко. Свою хлебную пайку отдавала безвозмездно кому-либо из товарок, широко делилась всякими лакомствами. Имела она одного друга или многих, я не знаю.

К моменту нашего прибытия на Колыму женщин стало значительно больше. Жить стало легче, но все же...

Наш барак повели как-то вечером в баню. Вели нас строем в сопровождении конвоя. Как обычно, женщины строя не выдерживали: одни спешили захватить шайки, места у крана, другие отставали. Случаев побега не было, надзор не докучал растянувшимся, разбредшимся женщинам. Только возле бани и зоны он равнял ряды, поштучно сдавал конвоируемых.

Отстав от основной массы зэков, Надя, Зина и я брели к лагерю по какому-то закоулочку. Было сумрачно, близилась ночь. Внезапно из-за угла вынырнула машина. Нам показалось, что машина идет прямо на нас. Мы шарахнулись в сторону. Тут же раздался отчаянный крик Зины, и руки ее вцепились в мое плечо. Я и Надя закричали так же отчаянно, еще не понимая в чем дело. Из открытой кабины чьи-то руки волокли Зину в машину. То ли наш дикий крик, то ли то, что мы вцепились друг в друга, заставило шофера, пустив самую площадную брань, захлопнуть дверь и укатить. Произошло это совсем недалеко от зоны. (Зина была лектором по истории искусств в Киевском университете, к физической работе она приспособиться не сумела. Все годы жила она в лагере очень тяжело, но бодрости духа не теряла.)

Благом нашего барака было то, что у нас не было уголовных. Уголовниц мы встречали в столовой, в зоне.

На первых же порах нас ошеломили резко бросающиеся в глаза женщины — «оно». Противные, омерзительно наглые существа. В Магадане их было

меньше. Их обычно высылали в глубинные лагпункты. Наглые лица, по-мужски остриженные волосы, накинутые на плечи телогрейки... Они имели своих любовниц, своих содержанок среди заключенных. Парочками, обнявшись, ходили они по лагерю, бравируя своей любовью. Начальство, как и огромное большинство зэков, ненавидели «оно». Лагерницы боязливо сторонились их.

Ошеломленные всем увиденным, мы сидели в своем полутемном бараке на нарах. Жить было непереносимо трудно. Заключенные стали мечтать о работе, о выводе за зону. Труд скоротает дни.

Неожиданно из нашего барака начались вызовы в контору лагеря. Вызываемые возвращались мрачными. Они никому не говорили, зачем их вызывали. В один из дней вызвали Катю Зимянину и меня. Разговор со мной был краток. Сидевший за столом, заваленным бумагами, штатский спросил:

— Когда вы кончаете срок заключения?

— Через полтора года.

— Странно, что вас привезли на Колыму. Не хотели бы вы освободиться раньше?

— Я не думала об этом.

— Краткосрочникам мы можем предоставить льготы.

— Я не прошу о льготах.

— А вы подумайте об этом.

— Не собираюсь.

— Вы никому не скажете о нашей беседе?

— Обязательно скажу.

— Можете идти.

Таков примерно был разговор в конторе. Когда я вернулась в барак и рассказала своим ближай-

шим соседям о беседе, они потрясенно пророчили карцер и репрессии за мой вызывающий тон, но никаких репрессий не последовало. Вечером меня подозвала к себе Катя Кухарская, маленькая, худенькая, с приятным спокойным лицом. Катя сказала мне, что была арестована в ссылке, в которую попала по делу анархистов. Одновременно с ней была арестована вся ссылка, было создано другое дело, и Катя получила пять лет. Что я — эсерка, Катя знала, об этом знали все в бараке. Я сознательно подчеркивала свою принадлежность к партии. Расспросив о моем вызове, Катя рассказала мне о своей беседе в конторе. Разговор был сходен с моим, но ей прямо предложили давать донесения о том, что и кем говорится в бараке. Катя отказалась. Теперь она опасалась последствий, но последствий тоже не было.

Зимянина о своей беседе в конторе никому ничего не сказала. Вернулась она в барак возбужденная, расстроенная и легла на свои нары. Не знаю откуда, но по бараку поползли слухи о том, что в каждом бараке и в нашем также, есть информатор. Возникали эти слухи легко, беспочвенно, без всяких оснований. Почему последовательные коммунистки боялись информаторов, я не понимаю. О Зимяниной упорно ходили слухи. Приятной, симпатичной она мне не была.

Неожиданно я встретилась в нашем бараке с Таней Гарасевой. Как не столкнулись мы в этапе раньше, — трудно понять. С Таней был связан большой кусок моей жизни. Встреча в челябинской пересылке, в Чимкенте... Первые мои шаги в Рязани были связаны с ее родителями. Но и к Тане я подошла настороженно. Я знала, что Таня в былые годы да-

ла письмо с отказом от прошлого. На этапе и в нашем бараке Таня никому не говорила, что идет по делу анархистов. Конечно, теперь она и не шла по их делу.

Окончив ссылку в Чимкенте, Таня вернулась домой. Прямо чудом излечилась она от туберкулеза. Жила и работала медицинской сестрой. На вопрос, за что ее арестовали, она отвечала, что арестованы все, кто был в ссылке когда-то, кто побывал в «минусе». Всем предъявили вымышленные дела, все получили новые сроки. Таня рассказывала о своем аресте, о своем следствии то же, что остальные: тюрьмы России забиты арестованными, в следственных камерах люди вповалку лежат на полу, никто не понимает причин своего ареста, никто не знает за собой вины. Таня рассказала о новой категории заключенных. О «женах». Им инкриминировалось, что они жены врагов народа. Из «жен» составляли эшелоны, для них существовали особые лагеря где-то на материке. Понять, что привело к массовым репрессиям не могла и Таня.

Теперь мы, социалисты, были маленькой ничтожной кучкой в арестантской массе. Ни о каком сопротивлении, ни о какой борьбе за режим не могло быть и речи. Жить, вернее выживать, — вот все, что оставалось нам.

С поступлением писем с воли стали мы узнавать о наших родных, друзьях. О всех, о ком нам удалось узнать, сообщалось одно и то же. Присуждены к десяти годам лагерей без права переписки.

Существуют ли такие лагеря? каков режим там? живы ли люди, осужденные на длительные сроки без права на переписку? Одни говорили, что в этих

лагерях невероятно строгий режим, другие полагали, что таких лагерей вовсе нет, что все присужденные к таким лагерям просто уничтожены.

Я думала, где мои товарищи, женщины — эсерки, анархистки, социал-демократки? Почему я не встретила ни одной из них? Я еще не понимала тогда масштабов арестов. Не знала о массе лагерей, разбросанных по всей азиатской и европейской территории Советского Союза.

Оставалось одно — стиснуть зубы, сжаться и жить, если то, что окружало нас, можно назвать жизнью. Другого не оставалось. Стать молчаливым свидетелем происходящего или умереть.

Работа в стройбригаде

Двадцать дней шли к концу. Старые лагерницы не понимали нашего рвения к работе. Их в работе привлекал только выход за зону. Сочувственно покачивая головами, они говорили:

— На хорошую, легкую работу вас не пошлют. Легкой работы для тюрзаков не будет.

Они оказались правы.

Легкие работы в лагере предоставлялись только уголовным: воровкам, проституткам, убийцам. Презрительно смотрели они на нас — «врагов народа» — и с меткой иронией называли себя «друзьями народа.

Был при Магаданском лагпункте швейный комбинат, работа в нем была не легкая. В душных, плохо вентилируемых помещениях по 12 часов в день сидели женщины за машинами. Нормы были огромные. Сохранить работу в комбинате можно было

только, давая норму. Боясь других работ, женщины надрывались, а нормы ото дня ко дню росли. В швейкомбинат брали женщин с малыми сроками тех, кто имел КРД 10-й пункт, и , конечно, бытовичек.

Женщин нашего этапа разбили на две бригады, одну послали на строительство, другую на мелиоративные работы. Я попала в строительную бригаду.

В шесть часов утра, получив хлеб и суп в столовой, заключенные побригадно выстраивались у дверей вахты. С поименной перекличкой нас выпускали за зону, конвой строил бригаду и вел на работу.

Магадан был тогда маленьким городком. Нас вели по пустынной дороге к строящемуся 50-квартирному каменному дому. Стройка была обнесена забором, у входа стояли часовые, надзор расхаживал по строительству. Рабочий день длился от 14 до 16 часов. Обед из лагеря привозили на строительство. Вернувшись в зону к девяти часам вечера, мы получали ужин и шли в барак спать. На строительстве вольных рабочих не было, все, начиная с инженера и кончая сторожем, были зэки. Вольными были конвоиры и Дальстроевское начальство.

Кое-кто из уголовных был расконвоирован и имел возможность выйти за пределы стройки в город. Работа на строительстве шла быстрыми темпами. Пятиминутные перекуры давались два раза — в десять утра и в четыре часа дня. С 12 до 13 был обеденный перерыв. Начальство и конвой подгоняли, но рабочие и сами жали изо всех сил. Сперва я не могла понять такой гонки со стороны заключенных. Я знала, что женщины моего этапа выкладывались на работе потому, что хотели своим трудом подчеркнуть преданность делу построения социализма. Но остальные?

Один каменщик объяснил мне:

— Из Магадана беспрерывно гонят заключенных на прииски. Там жизни нет. Там — гибель. Оттуда не возвращаются или возвращаются калеками, умирающими. Попасть на этап — все равно, что идти на смерть. Лучших рабочих начальство стройки отстоит, не пустит на этап.

Нашу бригаду поставили на бетономешалку — готовить замес. Женщины работали изо всех сил, но с замесом не успевали. Со стен неслась ругань, замеса не хватало. Тогда нас перебросили на другие работы: кого — куда. Я и еще три заключенные должны были разносить в ведрах воду. Каждая снабжала водой определенную часть строительства.

Каменщики возводили третий, четвертый, а затем пятый этажи. С двумя ведрами в руках непрестанно поднималась я по шатким досчатым трапам. Сперва даже лебедки для подъема тяжестей на стройке не было. Работа для нас, непривыкших к тяжелому физическому труду, была непосильной. Медлить мы не могли. «Давай воду. Давай кирпич. Давай замес», — кричали кладчики со стен.

Наряды начальники закрывали нам хорошие, вся бригада питалась по первой категории, но по ночам в бараках стоял стон. Я часто долго не могла уснуть и слушала, как измученные за день женщины стонут во сне. С отдельных нар доносился плач. У меня на обеих руках чуть выше кистей образовалось растяжение. Руки распухли, при малейшем движении слышался хруст. От боли я не могла расчесать волосы, застегнуть пуговицу. Я обратилась к лагерному врачу. Низенькая, очень полная женщина-врач, тоже зэка, обвиненная в троцкизме, отнеслась ко мне участливо. Она прибыла на Колыму одним

этапом с Надей, дружила с ней, ей хотелось помочь мне, но она не могла: число бюллетеней было строго ограничено.

— У вас растяжение, — сказала мне Гуревич, — это очень болезненно, но освобождения от работы я дать не могу.

На мое счастье боль была мучительно остра при мелких движениях кисти, на работе, при резких, сильных движениях я переносила боль. В бараке я старалась не шелохнуть рукой, — одеться, причесаться помогала мне Люся.

Выше возводилось здание, крепче становились морозы, мучительней становилась наша жизнь. Вероятно, многие из нас свалились бы, но нам повезло. Строительство получило срочное задание — выстроить деревянное здание гостиницы. Оно должно было быть завершено к какому-то съезду и нас перевели на это строительство. Мы должны были конопатить стены, убирать стружку, мыть полы, рамы, окна. Работа стала значительно легче. Для конопатки стен привезли тряпье, утиль. Разгружая машину, мы были потрясены этим утилем. Нам сразу стало ясно происхождение его. Когда наш этап прибыл в Магадан, в бане нам велели сбросить нашу одежду на пол в кучу. На нас были затасканные в этапе арестантские одежды. Теперь перед нами были груды мужской одежды, совершенно целой, дорогие вещи. Очевидно, родные, собирая близких на этап, передавали им, что потеплее, и все это теперь было свалено в кучу. Здесь было егеровское белье, шерстяные костюмы и, конечно, майки, кальсоны, свитеры, тужурки...

Первым нашим ощущением была боль при мысли о владельцах этих вещей. На многих вещах были

метки. Мы не работали, мы со слезами на глазах копались в груде утиля.

Сами мы были очень плохо одеты. У нас было по одной смене платья и белья. Белье раз в декаду меняли в бане, но, придя в барак с работы, мы не имели возможности сменить одежду. Кому-то из нашей бригады пришло в голову отобрать лучшие вещи, взять себе. Сперва взяли немногие, затем все. Ежедневно мы тайком несли с работы в зону трикотаж. Несли себе, своим товаркам по нарам. Наш барак приоделся. Конечно, мы крали утиль, но его были груды, его хватало и для конопатки. Кончался один грузовик, привозили следующий. Очевидно, вещам, снятым с зэков, не было конца.

Этап в Эльген

Магаданский лагерь — и женский, и мужской — жил под вечным страхом вывоза в глубь тайги на прииск. О жизни на приисках рассказывали ужасы. Только мне хотелось в глубину. Там была Надя Олицкая.

В начале апреля, когда весна стала ощущаться, когда мы уже чуть привыкли к лагерной жизни и к работе, нашу бригаду неожиданно сняли с работы и перевели в лагерь. Сквозь строй конвоя, с криками и руганью нас загнали в барак. У входа в барак поставили часового, который следил за тем, чтобы из барака никто не вышел. Привели и остальных наших женщин с других работ. Мы узнали, что всех тюрзачек везут в северное управление Севлага. Центром его был поселок Ягодное. Говорили, что нас направляют в совхоз Эльген, самый крупный лагпункт на трассе.

Вызывали нас по спискам. Группу человек в 40-50 вывели за зону лагеря и погрузили в стоявшую перед воротами грузовую машину, крытую брезентом. Брезент закрыли, чтоб мы не видели, куда нас везут. Перед лагерем стояли еще две такие машины.

В машине было тесно, темно и, несмотря на весну, холодно. На нас были ватные брюки, телогрейки, валенки. Но мороз крепчал, и мы замерзали. Брезент, натянутый над машиной, спасал нас лишь от колючего ветра. Конечно, по пути мы выискивали в брезенте дырочки и смотрели в них. Мы видели, что следом за нами идет такая же машина. Машины двигались по широкой прекрасной дороге. Мы знали, что трасса пересекает всю Колыму, ведет на север к бухте Амбарчик.

Уже к ночи машины остановились и нам предложили зайти в какой-то барак. В нем топилась железная печь-бочка. Ее огонь освещал помещение. Мы толпились вокруг, протягивали к огню руки. Многие разувались, грели портянки и пальцы ног. Здесь мы встретили женщин, погруженных во вторую машину, они нам сказали, что к утру готовят еще и третью. Настроение у большинства женщин было подавленное.

Через какие-нибудь полчаса мы снова сидели в машине и ехали дальше. Бескрайняя снежная равнина, сопки и сопки... Ни жилья, ни признаков жизни человека. Нам предстояло проехать на машине 500 км, если справедливы слухи о направлении нас в Эльген. Кое-где по пути нам попадалась встречная машина, кое-где к земле жалась затерявшаяся в бесконечных просторах сторожевая будочка.

Кто и когда проложил эту дорогу? «Инженеры, душечка», — сказал бы некрасовский генерал. Мы

знали: трасса выложена руками и на костях заключенных. На второй день езды наша машина свернула с трассы, не замедляя хода, и загромыхала по выбоинам дороги. Вторая машина пошла по трассе дальше. Неужели нас разъединили? Может, никогда уже не увидим женщин с той машины.

Вскоре мы подъехали к домику и машина остановилась. Нам предложили зайти в дом и передохнуть. На пороге домика нас встретили люди в лагерной одежде, они приветливо махали нам руками.

Большое просторное помещение, заставленное столами. Рядом — кухня. Мы попали в столовую одной из дорожных командировок. Летом здесь столовались рабочие сенокосных бригад, зимой — бригады лесорубов. Конвой в помещение столовой не зашел. Мы остались с глазу на глаз с лагерниками. Первые зэки, встреченные нами на трассе. Они были очень приветливы, тащили нам на стол стаканы горячего чая. Они говорили, что их столовая обслуживает всех приезжих, обещали приготовить обед.

Мужчины жаловались, что много лет вовсе не видели женщин. Как дорого им смотреть на нас, слышать звуки наших голосов. Час, а может быть, полтора, наслаждались мы теплом, чаем и предвкушаемым обедом. Солнце ярко светило, грело по-весеннему, женщины стали выходить на крылечко. Потом произошло какое-то смятение, женщины с крылечка бросились в помещение, сбились в кучу. Из уст в уста передавалось шепотом: «Держаться вместе, не выходить».

Две девушки подслушали разговор нашего шофера с одним из поваров. Нашу машину женщин шофер проиграл в карты. Сговорившись с конвоем,

он завез нас в столовую по трассе. Нас, или часть из нас, хотят завести в командировку расконвоированных дорожных рабочих. Сперва нам просто не верилось в возможность подобного. Мы стали звать конвоиров, но конвоя нигде не было. Очевидно, лагерников смутило настроение женщин, они пытались шутить, затем перешли на грубые замечания и недвусмысленные предложения. Стали приставать то к одной, то к другой женщине, предлагая выйти за дом... От любезности и шуток они перешли к угрозам. Теперь они требовали, чтобы мы очистили помещение и срочно грузились в машину.

— Или выделяйте группу хоть человек в десять.

Мы же сгрудились в дальний от входа угол, не зная, что делать. И тут мы увидели машину, идущую мимо. Мы выбили стекла в окне и закричали о помощи. Должно быть, это был отчаянный крик. Машина, миновавшая уже домик, остановилась. Из машины вышел мужчина в военной форме. Тогда, крича и толкаясь, женщины кинулись из двери домика. С воплем неслись они к военному, обгоняя друг друга. Не скоро понял он, о чем толковали ему женщины. Лагерники, шофер и внезапно появившийся конвоир докладывали, что женщины не хотят следовать в лагерь. Но как и почему машина с женщинами оказалась здесь, никто из них объяснить не мог.

— Ваше счастье, — сказал, поворачиваясь к нам военный, — ваше счастье, что мне пришлось ехать мимо по вызову. Садитесь в машину. Мой шофер довезет вас до Эльгена, а ваш шофер и конвой прокатятся со мной.

Часа в три мы прибыли в Эльген. Машина, шедшая с нами, давно была на месте. Они недоумевали,

куда увезли нас. Наши товарки уже устроились в бараке. Барак нам понравился. Высокий, светлый, с вагонной системой нар. Дежурившая в нем дневальная, тоже заключенная, встретила нас заботливо. Набежали женщины из других бараков, забросали нас вопросами о жизни в Магадане, сведениями с воли. Мы были для лагерниц Эльгена «столичными» гостями. Я спешила узнать о Наде Олицкой. Увы, мне сказали, что в лагере ее нет, что ее положили в больницу с сильным кровотечением.

Больница лагпункта была расположена за зоной. Попасть туда я не могла. Мне обещали завтра же передать ей мою записочку.

Приездом в Эльген наши мытарства не закончились. На следующее же утро нас снова по перекличке вызвали на этап. Теперь нас везли на командировку лагпункта Эльген — «Седьмой километр».

Почему нас везут туда? «Седьмой километр» была штрафная командировка, где валили лес. До сих пор туда отправляли только уголовных штрафниц. Как заключенные Магадана боялись этапа на трассу, так же заключенные Эльгена боялись командировок. Страшила их и работа командировок — лесоповал, страшила и жизнь в маленьком, заброшенном в лесу бараке.

Штрафная командировка: седьмой километр

Все дальше от родного мира угоняла нас судьба. Маленькая, ничтожная горсточка людей, — подконвойных, подневольных. Мало было забросить нас через океан на Колыму, мало завезти за сотни километров в глушь необитаемого края. Дальше. Еще дальше.

Величие и красота севера окружали нас и подавляли. Бескрайний простор снегов. Потом вдоль дороги появились заросли, но оставались они тонкой порослью. Лес все еще оставался впереди. Наконец, на повороте дороги мы увидели строения: два маленьких домика будто утопали в снегу. Из труб шел дымок. Вокруг — колючая проволока. У домиков нас согнали в кучу, пересчитали. Завели в домик, стоявший вне ограды. Был он разделен на две части. В одной помещалась столовая, в другой жил надзор. Нас провели в столовую.

Из кухни в прорезанные в стене окна нам дали по миске супа, по оловянной ложке, по куску хлеба. Нам заявили, что кормят нас «так», по доброте, на довольствие нас еще не зачислили. Завтра утром получим завтрак, пойдем на работу и питание впредь будем получать от выработки.

После обеда нам хотелось побыстрее разместиться в бараке, отдохнуть, но нас из столовой не выводили. От толстой, добродушной поварихи мы узнали, что конвой никак не освободит для нас помещение. На «Седьмом километре» к старому бараку пристроили новый. До нашего приезда старый барак стоял пустой. В новом жили штрафницы-уголовницы, работавшие на повале.

— Пришло распоряжение от уголовных вас изолировать и их перевести в старый барак, а они разлеглись на нарах, не хотят идти. Надзор их гонит, никак не справится.

Какую цель преследовала этим администрация, осталось нам неизвестным, но озлобление против нас среди уголовных было посеяно сразу.

— Проклятые враги народа, — кричали они нам, когда нас проводили мимо них к новому бараку.

Барак действительно был недавно срублен: и бревна, и стены, и потолок, и нары вагонной системы, все было из свежего чистого желтого дерева. Нас поразил барак своими ничтожными размерами. В стене, против двери барака, прорезано маленькое окно. От окна к двери идет совсем узенький проход. В середине прохода — маленькая железная печка с трубой, выведенной прямо в потолок. От двух других противоположных стен к проходу — нары. Пройти по проходу около печки мог только один человек. Гуськом прошли мы, занимая каждая по полке, — уставшие, ошеломленные новосельем и предстоящей работой в лесу. Нас пугало само слово «лесоповал». Из нас никто не только не валил леса но и не видел, как его валят. Большинство никогда не держало в руках ни пилы, ни топора.

Наутро после побудки и завтрака начались сборы на работу. 9 апреля, — а на дворе 40-градусный мороз. Обмундированы мы были хорошо: ватные брюки, телогрейки, бушлаты, валенки, шерстяные портянки, шапки-ушанки, стеганые рукавицы. Все новое, все первого сорта.

Бригадир, — молодой парень, уголовный, — предложил желающим пойти на погрузку лесом тракторных саней. Требовалось восемь человек.

— Работа тяжелая, — предупредил он, — но первая категория питания обеспечена. Выход на работу в любое время дня и ночи. Трактор ждать не будет.

Пошептавшись между собой, восемь самых крепких девчат вызвались на эту работу. Остальных бригадир разбил на четверки. Каждая четверка получила пилу и топор.

Бригадир вывел нас на работу. Сперва мы шли

колонной по четыре в ряд по проложенной тракторами дороге. Удивительно красив был рассвет, но нам, непривыкшим к 40-градусному морозу, трудно было любоваться природой, — мы то и дело терли щеки, лоб, уши, беспрерывно рассматривали друг друга. С холодом было покончено, как только мы дошли до леса.

Бригадир свернул с дороги на узкую тропочку, потом зашагал по целине. Идти по глубокому снегу было трудно. Бригадиру хорошо — он шел в одной телогреечке и был высок. Снег был ему чуть выше колен. Мы же напялили сверх телогреек бушлаты, а утопали в снегу по пояс. Спотыкались, падали, барахтались в снегу. Падение одной — останавливало других. Мы могли бы обойти упавшую, но мы шли по пятам за бригадиром, по его следам. Задыхающиеся, добрались мы наконец до делянок. Четверку за четверкой ставил бригадир на работу.

Получив свою делянку, мы стали осматриваться. Тонкие, в 50 сантиметров в поперечнике, густо растущие деревья стояли вокруг нас. Ближе к краю делянки деревья стояли реже. Там росли большие развесистые березы. О них мы и не помышляли. Мы не думали, что можем свалить такое большое дерево. Мелкий лес казался доступней. Мы не думали о том, на каком лесе можно дать норму.

Мы должны были валить весь лес подряд. Сваленные деревья распиливать на трехметровки и штабелевать. Норма на пилу была девять кубометров. Собственно, она нас не интересовала. Мы даже не представляли себе, сколько это — куб. Нам, не всем, но большинству, даже захотелось попробовать валить лес. К тому же мы опять стали замерзать. В работе можно было согреться. Поначалу мы и не

представляли, какие трудности ждали нас. Инструмент плохой — ни пилы, ни топоры не были наточены. Хоть стволы деревьев и были тонкими, но древесина была крепка, как сталь. Из-за вечной мерзлоты корни располагались поверхностно. Часто вместо того, чтобы быть срубленным, дерево выворачивалось из земли с корнями, цеплялось за вершины соседних деревьев и повисало на них.

Солнце поднялось высоко и грело сильно. Снег не таял, но в воздухе было просто жарко. Мы скинули не только бушлаты, но и телогрейки. Мы не умели валить деревья, мучились над обрубкой сучков. Не умели мы и штабелевать. Мы так ставили подпорки, что штабель, чуть поднявшись от земли, косился на бок и рассыпался. Часам к пяти вечера, когда бригадир пришел замерять работу, в нашем кособоком штабеле по его замеру оказалось полтора кубометра. В других четверках успех был такой же. Редко у какой четверки оказалось три с половиной кубометра.

Бригадир ругался, заявил, что мы лодыри и не хотим работать. Конвоир орал, что не поведет нас в зону, пока мы не дадим норму, что он оставит нас ночевать в лесу. Солнце склонялось к горизонту. Косые лучи его уже не грели. Мы снова надели телогрейки, бушлаты. В полном отчаянии от результатов замера, женщины сложили топоры и пилы. Норма казалась нереальной.

Уголовные женщины, работавшие по другую сторону дороги, собрались толпой.

— Дежурненький, веди нас домой! — орали они.

Стали подтягиваться к выходу из леса и женщины нашего этапа. Надзиратель стоял на тропе с винтовкой наперевес, загораживая дорогу. Уголовные

затянули песню. Будь у нас карандаш и бумага... их песни надо бы записать. Протяжно и тоскливо женщины пели о своей судьбе, — судьбе проститутки, воровки, молодой девчонки, завезенной в колымский лес. Песня описывала жизнь девушки, узнавшей в 16 лет порок и тюрьму. Каждое слово было полно тоскливой и мучительной правды.

На небе стал виден серп луны. Так же внезапно песня кончилась, как началась.

— Хватит! — крикнула одна из уголовных. — Пошли в лагерь!

И она двинулась вперед, прямо на конвоира. Тот поднял ружье и выстрелил. Всего в каких-нибудь пяти шагах от конвоира девушка рухнула в снег. Сбившись в кучу, мы стояли у тропы. А надзиратель, повесив ружье на плечо, шагнул к лежавшей, пнул ее ногой.

— Эй ты, не придуривайся, вставай, — сказал он равнодушным голосом.

И она встала. Усмехаясь, стряхнула снег.

— По четверкам разберись! — кричал надзиратель.

Утопая в снегу, мы построились. Пересчитав четверки, надзиратель повел нас в зону.

В столовой, как невыполнившим норму, нам выдали штрафной паек: миску супа и пайку хлеба в 300 граммов на завтрашний день.

В бараке голодные, усталые забрались мы на нары. Говорить было не о чем.

И потекли дни...

После подъема и миски тюремной баланды мы шли в лес. Работа не шла. А силы падали. Несчастные случаи сменяли один другой.

Когда-то вечером, когда мы уже разделись, развесили сушить одежду и легли на нары, в барак ввалился упитанный и пьяный человек. Это был начальник всего лагеря Эльген.

— Сгною! — кричал он, размахивая кулаками, на женщин, натянувших на себя одеяла. Долго молча выслушивали женщины пьяные крики. Наконец кто-то робко сказал:

— Мы хотим работать. Мы сами хотели бы дать норму, но она невыполнима.

— Ах, невыполнима! Так я заставлю вас ночевать в лесу, но норму дадите!

— Попробуйте, — сказала я. Добавить я ничего не успела. Крик начальника заглушил все мои слова.

— Кто сказал «попробуйте»?!

— Я, — ответила я.

— В карцер! Сию минуту одеваться и в карцер!

Пока я одевалась, заговорила моя соседка.

— Олицкая хотела сказать, что мы...

— Поддерживаете!? В карцер! — гремел начальник.

В бараке наступила тишина. Мы оделись, и надзиратель отвел нас в карцер. В карцере было темно и холодно. Укрывшись бушлатами, прижимаясь друг к другу, мы согрелись и уснули. Утром, когда все были уже в лесу, нас почему-то выпустили из карцера, накормили и провели в барак. В бараке мы не дождались возвращения рабочих из леса, нас снова отвели в карцер. Так было все три дня.

Начальника сняли с работы за пьянку. Нас перестали водить в карцер и послали со всеми в лес. Пока мы сидели в карцере, женщины приспособились к работе. Убедившись, что на крупном лесе выполнять норму легче, они стали валить большие дере-

вья. Выработка не доходила до нормы, но стала повышаться. Это не понравилось бытовичкам. Они не хотели работать, не хотели, чтобы и 58-я давала норму. В лесу, собравшись толпой, они двинулись на работавших женщин.

— Эй вы, враги народа, не трогайте крупный лес! Айда рубить мелочь!

Бытовички рассчитывали, что 58-я сдрейфит. Они просчитались. Измученные, издерганные женщины не отступили. Они тоже с топорами в руках двинулись навстречу уголовным. Впереди других шла Женя Шторн, маленькая, худенькая, под мальчика остриженная, курчавая женщина. Уголовные отступили.

— Ну и жрите его, хоть весь. Все равно передохнете.

На другой день Женя захватила с собой в лес простыню. Она разорвала ее на полосы, сделала петлю, закинула за сук толстого дерева у штабеля, залезла на штабель, сунула голову в петлю и прыгнула вниз. Бездыханной сняли ее из петли, отвезли в больницу. Жизнь ей спасли.

Женщины добились того, что инструмент стали лучше точить. Выработка росла, но к норме она не приближалась. Выручила женщин из неминуемой беды весна.

Встреча с Надей

Лагпункт Эльген был расположен рядом с совхозом Эльген, который выращивал овощи. Злаки на Колыме не вызревали. Даже овес сеялся только на зеленку. Основной культурой была капуста. В совхозе Эльген она и засаливалась. Всю зиму грузовики развозили квашеную капусту по приискам.

Белокочанная засоленная капуста шла для вольных, зеленый лист — для зэков.

На Колыму все продукты питания завозили с материка пароходами. Завезти овощи не было возможности.

Весной, как только начинались полевые работы, почти всех женщин снимали с лесных работ и переводили в полевые бригады. В этом и было наше спасение. Посильный для большинства женщин труд давал возможность выполнять норму. Мы получали более или менее удовлетворительное питание. И еще — на поле женщины могли поесть кроме пайка еще кое-что: весной — сажаемую картошку, осенью — капусту, турнепс, опять же картошку.

В самом начале мая группа женщин была возвращена в зону, направлена на полевые работы. Мои ближайшие товарки спаслись от повала, меня же спасла Надя. Вернувшись из больницы в лагпункт, Надя прислала мне с трактористом записочку. Она писала: «Притворись больной, от вас водят больных на прием в Эльген». На другой же день я срочно «заболела». Отказавшись идти в лес на работу, я бегала по бараку, держась за щеку. Я симулировала, как могла. Меня отпустили в Эльген к зубному врачу одну.

На Колыме, в глубинных командировках, строгого конвоирования заключенных не соблюдалось. Вольных поселков поблизости не было. Бежать с Колымы было почти невозможно. Мы слышали о побегах, но бежавшие или погибали от холода и голода, или возвращались обратно в лагерь. Позднее я сама видела безнадежно скитавшихся беглых.

Семь километров я шла по безлюдной и снежной дороге в Эльген. Сбиться с дороги невозможно. До-

рога, проложенная трактором, одна. По обе ее стороны целинная гладь снега. Ни тропы человеческой, ни звериного следа.

Хорошо было идти одной, чуть жутковато в неведомом краю, но после стольких лет пребывания на людях с неизбежными конвоирами за спиной... Торопило только желание поскорей встретиться с Надей. Я боялась, — что-нибудь помешает, не осуществится встреча.

Но все прошло удачно. Меня принял зубной врач. Потом меня пропустили в зону. Я разыскала барак Нади. Ее не было в бараке. Вообще никого не было, кроме приветливой старушки-дневальной, которая сказала мне, что Надя ушла в каптерку. Я пошла туда. «Как же, — думала я, — узнать Надю? Как различить среди других?»

Открыв дверь каптерки, я увидела перед прилавком немолодую полную женщину. Лицо ее было одутловатым, до прозрачности бледным.

— Олицкая здесь? — спросила я.

— Катя! — и Надя была уже около меня. Она сразу узнала меня по сходству с братом.

В бараке мы залезли на верхние нары. Мы смотрели друг на друга, говорили, умолкали и снова говорили...

Надя попала на Колыму раньше меня, в страшное время гаранинщины. Она в числе других женщин, осужденных по 58-ой статье, отсиживала в карцерах 1 мая, октябрьские дни. При ней из бараков уводили людей на расстрел по расчету при поверке: «Каждый десятый выходи в сторону!» Гаранинщина — это время, когда люди сотнями умирали от эпидемий, замерзали в палатках и бараках, когда утрами по дороге двигались подводы с мерт-

выми, когда голые трупы с подвод сваливали в облюбованный тюремщиками овражек. Его притрусили сверху землей, когда он наполнился доверху.

На Колыме — вечная мерзлота. Запах тления не мешает жизни. Может быть, мерзлота сохранит эти братские могилы и когда-нибудь история раскроет их и воздвигнет памятник жертвам страшных ошибок, страшных лет. Это не были годы войны. Это не были годы фашистских майданеков, это были лагеря смерти 1938-1939 годов.

Режим этот не применялся к уголовникам. Мерзли и они, но их не выстраивали на поверки, не рассчитывали под расстрел. Это была привилегия 58-ой статьи.



На Эльген попала Надя на год раньше меня. Все это время она работала на мелиорации. В условиях Колымы земляные работы очень тяжелы. Вечная мерзлота, галька, лом, подборочная лопата. Постоянно Надю клали в больницу с кровотечениями, а потом снова направляли на ту же работу. Так тянулось год. На этот раз Надя вернулась из больницы с радостной вестью — больница прислала заявку, Надю отсылали на работу сестрой. Самые страшные годы были у нее позади.

— Теперь, — говорила она, — вытащить тебя с лесоповала. Ты такая худая, желтая, прямо — доходяга.

Еще одно лагерное слово. Я думала, что только Колыма обогатила русский язык блатными словами. До лагерей я никогда не слыхала их. Увы, вернувшись после освобождения в Россию, я услышала эти слова. Они вошли в язык многих и многих. Уди-

вляться не приходилось: добрая часть советских граждан побывала в лагерях.

Доходяга — человек, который дошел до предела жизни, стоит у грани ее. Доходяга не живет, он влачит свое жалкое тело, он доходит, он дошел.

Я видела много доходяг, особенно среди мужчин, которые быстрее женщин опускались, изматывались в условиях лагерной жизни. Конечно, и участь их была тяжелее.

Рядом с нашим лагпунктом находилась мужская командировка. В ней жили заключенные, обслуживающие лагпункт и совхоз: три или четыре агронома, несколько шоферов, плотники, слесари, каптеры, повара, нарядчики — человек сорок. В основном, это были люди, выкарабкавшиеся из доходяг. Начальник агробазы и старший агроном уцелели вообще чудом. Во времена Гаранина их уже приговорили к расстрелу. Приговор Гаранин не успел привести в исполнение, он сам был расстрелян.

Периодически, обычно весной, в мужскую зону пригоняли небольшую группу мужчин с приисков. Гнали доходяг, людей потерявших здоровье и силы на приисках при добыче золота. Мне приходилось видеть эти этапы. Под конвоем по дороге плелись оборванные, обросшие, грязные шатающиеся, изможденные люди. Шли они на дрожащих ногах до тех пор, пока не сваливались на дороге. Свалившегося пытались поднять толчками, окриками. Если заключенный не поднимался, его бросали, а этап уходил. На приисках доходяги становились балластом, не годным к работе. Прииск рад отделаться от них. Их гнали на более легкие работы: на сенокос для прииска, на заготовку дров, на подсобные работы к нам в совхоз. Большинство из них были слом-

лены и погибали, если не в дороге, то на месте. Нередки были случаи, когда изголодавшиеся люди погибали от еды, дорвавшись до хлеба. Есть они могли без конца и все, что им попадалось. Они варили хлеб в воде, чтобы он разбух, чтобы еды было больше. Разваренный хлеб комом ложился в желудки, и люди умирали.

Никогда я не забуду двух доходяг, двух сгорбленных стариков, с трудом передвигавшихся, опираясь на палку. Годами они не были стары, им не было и пятидесяти. Оба они были когда-то профессорами, читали лекции в вузах Москвы. С Колымы их послали на прииск, на прииске — в забой. Профессора не могли выполнить норму, сидели на штрафном пайке. С этапом других доходивших послали их с прииска в сенокосную бригаду. Им повезло, они свалились по дороге близко к Эльгену. Их подобрали и положили в нашу больницу. Там они немного оправились, и их перевели в мужскую зону. Им страшно повезло. Им досталась чудная работа, — так, по крайней мере, говорили сами профессора. Лагерь послал их собирать золу из печей. С ведрами, опираясь на палки, тащились они от печки к печке по агробазе, по зоне, по поселку. Они выгребали из печей золу и высыпали ее в специально расставленные бочки. Всюду им подавали — кто кусок хлеба, кто пару картофелин, а кто и миску супа или кусок сахара. По пути они обшаривали все помойки, вылизывая брошенные коробки из-под консервов, подбирали селедочные головы, огрызки, окурки. На моих глазах они окрепли, немного отъелись. Палочки они носили уже для вида, чтобы их не сняли с хорошей работы. Самым ужасным было то, что их психика была сломлена и, сколько я их знала, не восстановилась.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зачем я пишу эти строки? Кто, кроме бывших в лагере, поймет меня? Я закрываю глаза и вижу... Теплица, прямо у печи две согнутые, скрюченные фигурки там, под стеллажом, в приямке. Они спустились туда, чтобы погреться. Они протягивают к огню свои закостеневшие на морозе, заскорузлые руки, разматывают грязные, вонючие портянки. Согревшись немного, они извлекают из прорех своей одежды и подносят к своим обрюзгшим, беззубым ртам такие объедки, которыми побрезговала бы любая собака. Если они сыты, бережно заворачивают свои сокровища, подобранные на свалке, и суют их за пазуху или в карман. При этом они осторожно озираются по сторонам, чтобы никто не заметил, чтобы не отобрал надзор при проходе через вахту, чтобы не выкрал сосед.

Они согрелись, они сыты. Что-то из прошлой жизни воскресает в них. Они даже хотят покрасоваться перед нами. Своими осипшими голосами они начинают вдруг читать стихи — Бальмонта, Брюсова, Блока.

Я вглядываюсь в лица моих подруг по работе. Мы штампуем питательные горшочки для рассады капусты. Лицо одной из них страшно меняется, углы рта опускаются, губы начинают дрожать.

— Верочка, зачем так? — говорю я.

— Может быть, и мой отец...

Вера отбрасывает в сторону доски, замес и выбегает из теплицы. Не надо за ней идти. Скоро она вернется и станет к станку.

1947 год. Я только что освободилась из лагеря, я живу у Нади на прииске «Утиный». Прииск расположен в долине узенькой речки Утиной, протекающей меж высоких гор. Правый берег реки золотоносный. Когда-то здесь был прииск заключенных. Теперь его уже нет. Установлена золотопромывочная фабрика. Работают вольные — бывшие зэки. Утиная перехвачена плотиной. По склонам гор высечены дороги, по ним снуют грузовики, они подвозят породу. Издали, снизу, они кажутся маленькими спичечными коробочками. Вдалеке слышны взрывы, видны столбы взлетающей при взрывах породы. Освободившимся зэкам выезд с Колымы не разрешен, они стали вольными рабочими Дальстроя.

Я стою у домика конбазы. Рядом со мной стоит ее завхоз, молодой парень, тоже бывший заключенный, кажется, вор. Мы смотрим, как с горы спускается маленькая, согнувшаяся в три погибели человеческая фигурка. Кто-то тащит салазки, нагруженные дровами.

— Тяжело здесь с дровами, — говорю я, — с какой кручи приходится спускаться.

— Да, — соглашается завхоз, — там, у забоя Марии Ивановны, положе, но там никто не пойдет.

Я спрашиваю, что это за Мария Ивановна; я ожидаю рассказа о героическом подвиге и ошибаюсь.

— Вы не слыхали? Это в пору Гаранина. Была здесь врачиха Мария Ивановна. Покойники-то в ее ведении находились. Без справки не хоронили...

Сначала их возили вон в тот овражек, — он махнул рукой, указывая куда-то в сторону. — Как засыпали до краев, сыпать стало некуда. Тогда стали землю взрывать. Заключенным кличку долго ли дать? И окрестили это место — кладбищем — не назовешь ведь? — ну, и назвали «Забой Марии Ивановны».

Зачем я пишу все эти строки? Разве надо помнить о печальных последствиях культа личности? Или в предвоенные годы культа личности еще не было? Выжившие — реабилитированы. Умершие — реабилитированы посмертно. Только списки невинно погубленных людей не опубликованы нигде. Только о последних годах и днях их жизни не знает никто. Тела их свалены в овражек...

«Прогресс человечества строится на костях и крови», — говорят одни. «Лес рубят — щепки летят», — говорят другие. «Революция не делается в белых перчатках», — говорят третьи... А что говорит народ? Простые люди? *Народ безмолвствует.*

Зачем я пишу? — Я не могу не писать! Может быть, это память о них, хороших и плохих, — безразлично.

ОГЛАВЛЕНИЕ